

**Военные
Приключения**

ИДУ НА ПЕРЕХВАТ



ВЛАДИМИР РЫБИН

Военные приключения (Вече)

Владимир Рыбин

Иду на перехват

«ВЕЧЕ»

1984, 1974, 1976

Рыбин В. А.

Иду на перехват / В. А. Рыбин — «ВЕЧЕ», 1984, 1974,
1976 — (Военные приключения (Вече))

ISBN 978-5-4484-8159-8

Страшное дело для пограничника, если нарушитель уходит. Но совсем невыносимо видеть, когда уходит он буквально из-под носа. Вот он, рукой подать, а не возьмешь, потому что линия бакенов посреди реки – это граница и пересекать ее пограничному катеру запрещено. И остается мичману Протасову, несущему службу на Дунае, в очередной раз бессильно сжимать кулаки... В книгу известного мастера отечественной военно-приключенческой литературы включены произведения о советских моряках-пограничниках, честно и мужественно исполняющих свой долг по охране рубежей Родины.

ISBN 978-5-4484-8159-8

© Рыбин В. А., 1984, 1974, 1976

© ВЕЧЕ, 1984, 1974, 1976

Содержание

Взорванная тишина	6
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Владимир Алексеевич Рыбин

Иду на перехват

© Рыбин В.А., наследники, 2020

© ООО «Издательство «Вече», 2020

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2020

Взорванная тишина

Страшное это дело для пограничника, если нарушитель уходит. Но совсем невыносимо видеть, когда уходит из-под носа. Вот он, рукой подать, а не возьмешь, потому что линия бакенов посреди реки – это граница и пересекать ее пограничному катеру запрещено. И нарушитель знает: советские пограничники не нарушат приказа. И он уже не спешит, торжественно ухмыляется, понимая, что пока катер подойдет, пока сманеврирует, легкий рыбацкий каюк будет уже по ту сторону черты.

Пограничная «каэмка» мичмана Протасова давно охотилась за этим «любопытствующим» рыбаком. И теперь пограничники еще издали заметили лодку нарушителя возле нашего берега. Но треск мотора в рассветной тишине далеко слышен. Нарушитель успел выгрести на струю, которая и вынесла его к фарватеру.

– Товарищ мичман, может, подхватим? На ходу? – говорит старший матрос Суржиков.
– Давай!

Катер, резко вильнув, наискось пересекает реку, делает крутой разворот и, взыв моторами, несется поперек течения наперерез нарушителю. Суржиков с багром стоит у борта, готовый на ходу достать черный каюк, оттащить его от невидимой запретной черты.

Но то ли Протасов на миг запаздывает положить руль вправо, то ли течение в этом месте оказывается слишком сильным, только катер на повороте вдруг начинает нести по неожиданно широкой дуге, он задевает бакен и пенит воду за ним крутым разворотом. И вдруг раздается треск: словно кто палкой бьет по деревянному борту. И, несмотря на рев двигателей, Протасов ясно слышит короткую пулеметную очередь с чужого берега.

– Назад! – кричит Протасов. Хотя повернуть может только он сам, стоящий у руля.

Катер проскакивает в пяти метрах от лодки. Нарушитель валится на бок, блеснув в воздухе босыми пятками, но тотчас ловко вскакивает, и грозит кулаком, и что-то кричит вслед катеру, на предельной скорости уходящему за острова.

Когда исчезают вдаль и тот мыс, и лодка, Протасов перегибается через борт, дотягивается до пробоины у ватерлинии, вынимает щепочку, минуту держит ее на ладони и, сдунув, идет в каюту писать рапорт о случившемся. Над Дунаем еще стелется редкий туман. Из-за дальних тополей на нашем берегу выкатывается большое бронзовое солнце.

Писать рапорта для Протасова всегда было мукой. А тут еще это раздражение на себя, не сумевшего взять нарушителя, на ограничения, которыми, как забором, огорожена служба. Вместо так необходимых теперь ясных и спокойных формулировок в голову лезут раздражительные обвинения, которые говорят только об одном – о желании оправдаться. И все время звучат в ушах сто раз слышанные назидания командира группы катеров капитан-лейтенанта Седельцева: «Больше инициативы! Больше смелости, решительности, смекалки!»

Протасов откладывает карандаш, выходит в рубку. Катер все еще идет протокой. Волны качают камыши у близких берегов. Впереди виднеются ряды корявых верб у воды. Под ними у деревянных мостков темнеют высоконосые лодки рыбаков. На мостках стоят люди, много людей, во все глаза глядят на приближающийся катер.

– Чего они уставились? – недоуменно спрашивает механик Пардин, вылезая из люка и причмокивая мундштуком своей неизменной трубки.

– Смотрят, как мы ковыляем, обстрелянные.

– Откуда они знают?

– Бабьске радио, – говорит Протасов словами деда Ивана, хозяина дома, в котором он снимает комнату.

– Полундра! Вижу белое платье!

Суржиков, стоящий у руля, высовывается из рубки, показывает рукой. Но Протасов и сам замечает свою Даяну на корме одной из лодок.

– Почему «полундра»? – спрашивает он рассеянно.

– А как же, товарищ мичман?

Протасов знает, что «полундра» у Суржикова может означать что угодно, и все же говорит:

– «Полундра» – это значит «берегись». Чего же беречься?

– В данном конкретном случае не «чего», а «кого». Иные глаза похлеще пулемета будут. А вообще-то в данном конкретном случае «полундра» означает «ура».

Протасов выходит на палубу, машет рукой. Белое платье там, на корме лодки, начинает порхать мотыльком, и от бортов по зеркальной глади протоки бегут частые волны.

– Когда свадьба, товарищ мичман?

– Когда будет, тогда узнаешь.

За вербами проглядывают окраинные мазанки с розовыми под утренним солнцем стенами. И мичману думается, что, вероятно, таким вот ясным утром и родилось это странное название села – Лазоревка.

Село это большое и древнее. Говорят, что существует оно чуть ли не со времен киевских князей. Во все века селились тут вольнолюбивые русские да украинские мужики, предпочитавшие комариное царство придунайских болотин панским да боярским милостям. Приходили сюда и греки, и болгары, и молдаване. Из смешения кровей складывалась порода крепких добродушных мужиков и черноколых красавиц, умевших глядеть на парней, не опуская глаз.

Когда Протасов впервые приехал сюда на Дунай, он не знал об этой особенности местных женщин. И первая же, уставившаяся ему прямо в глаза, так поразила мичмана, что он три дня ходил сам не свой. Это была Даяна. Потом он много видел здесь пристальных женских глаз. Но в нем уже не было места для других.

Теперь Даяна каждый раз ждет его у причала.

– Чего тебе не спится? – говорит мичман, спрыгивая с мостков на землю.

Девушка пожимает плечами.

Он ласково отстраняет ее и идет на заставу. По пути решает забежать домой, побриться. Живет мичман на окраине села в небольшой хатенке старого рыбака деда Ивана. Дед Иван одинок. Единственный сын его утонул в плавнях. Жена после того захирела, да так и не оправилась, померла за год до освобождения Бессарабии.

Старик привязался к мичману, как к сыну. Каждый раз он шумно радуется его приходу и лезет в погребок за своим ароматным розовым вином. И непременно достает газету, донимает мичмана вопросами.

На этот раз старик встречает его у калитки. Молча идет за ним в дом, спрашивает шепотом:

– Колупнули-таки?

– А ты откуда знаешь?

– Аист летал, он и видал.

– Стало быть, все знают? Что ж ты шепотом говоришь?

– Так ведь военная тайна, – искренне удивляется дед. И, смутившись под насмешливым взглядом мичмана, лезет в карман за газетой.

– Что на свете делается! – вздыхает он. – Пять пароходов потопили за день. Один германский пароход так сильно взорвался, что осколком подбило английский самолет, который его бомбил. Не читал?

Мичман молчит, царапает щеку опасной бритвой.

– Пишут, будто в Финляндии дело плохо: голодает народ. А наши соседи чего-то полошатся. Вас, должно, бояться.

- Чего нас бояться?
- Вон вы какие, с пулеметами.
- Мы не кусаемся.
- Да уж палец в рот не клади.
- Да уж лучше не надо.
- А может, не зря говорят, что соседи будут отвоевывать Бессарабию?
- Может, и не зря.
- Что ты все повторяешь? Поговорить как следует не можешь? – сердится дед.
- Ну давай поговорим.
- Ну и поговорим давай. Как человек с человеком. Будет война-то ай нет?
- А я почем знаю!
- Знаешь небось...

Старик еще шуршит газетой, останавливается на чем-то, шевелит губами.

- Еще про беременных пишут.
- В какой стране?
- Да про нас же. «Вторая профессия врача Фукса» называется. Аборты врач делал. Во взгляди, что пишут: «Дело об ответственности женщин, сделавших аборты... будет судом рассмотрено отдельно». А куда им деваться, если уж попались?

– Рожать.

– Много ты понимаешь. А ежели у нее и без того семеро по лавкам? Или ежели ее какой молодец вроде тебя соблазнил. Куда ей с дитем-то?

– Это почему же «вроде меня»?

– Ну, ежели, к примеру, твоя Даянка забеременеет, – гнет свое дед.

– Это как забеременеет?

– Обыкновенно. Не знаешь как?

– Ты, дед, говори, да не заговаривайся! – взвизывает мичман. – От кого это она забеременеет?

– Да от тебя же, бугая. А ты возьмешь да и бросишь ее, с брюхом-то.

– Почему это брошу?

– Хочешь разве, чтоб у Даянки твое дите было?

– А чего?...

– Ну, я ей так и скажу.

Мичман от неожиданности роняет помазок на колени.

– А то девка совсем извелась, – продолжает дед простовато. Хотя глаза его светятся от удовольствия, что завел-таки мичмана.

Оба замолкают. Протасов протирает лицо жгучим тройным одеколоном, косится на запотевший графин, полный красного дедова вина.

– Из погреба?

– А отколь же?

Прежде, у себя на Волге, он любое вино считал выпивкой. И, приехав сюда, очень удивлялся вначале вину, которым местные жители просто утоляют жажду. Скоро он и сам убедился: во влажном мареве дунайских проток водой не напьешься, только изойдешь потом. Ему почти не приходилось пользоваться этим «лекарством от жары» – на катере это запрещено, а на берегу не хватает времени даже для сна. Граница последние недели напоминает человека, затаившего дыхание в засаде.

Протасов потягивается, борясь с дремотной ломотой во всем теле, надевает фуражку. И, чтобы на прощание доставить деду удовольствие, спрашивает:

– Что еще в газете пишут?

– Что войны не будет, – быстро отвечает дед.

– Так и пишут? Где?

Он нетерпеливо берет газету, шарит глазами по полосе. Попадают другие заголовки: «Готовимся к уборке урожая», «Использовать лето для отдыха», «Севообороты в Омской области»... Наконец в правом верхнем углу находит сообщение ТАСС, опровергающее слухи, что Германия намеревается напасть на СССР.

– Что же это получается? Одни говорят: готовься, мол, к войне, другие пишут: спите спокойно, никакой войны не предвидится...

Протасов не знает, что ответить. Он привык верить газетам, как самому себе. Но это сообщение противоречит тому, что он сам видит и слышит здесь, на границе. С той стороны стреляют, на той стороне чуть ли не открыто к чему-то готовятся. И ползут по селам слухи, один другого фантастичнее. Конечно, ему, пограничнику, следует опровергать слухи. Но хорошо это делать там, вдали от границы, где люди не слышат стрельбы, не просыпаются от гула моторов на том берегу, не видят чужих офицеров, подолгу разглядывающих в бинокли наш берег. Здесь для опровержения слухов нужны факты.

– Наверно, сверху дальше видно, – рассеянно говорит он. И вдруг его осеняет: – Ты, дед, между строчек читать умеешь?

– Ну.

– Вот те и «ну» – баранки гну. Раньше ведь ничего не писали. Шла где-то война, нас не касалась. А теперь дают понять, что и нас может коснуться. Гляди, что написано: «Слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР...», «Переброска германских войск в восточные районы Германии...».

– Ну?

– Не «ну», а «но». Дальше говорится, что проводятся летние сборы запасных частей Красной армии, что предстоят маневры, что проверяется работа железнодорожного аппарата... Вот что главное. А остальное – дипломатия. Понял?

Дед снова принимается читать сообщение ТАСС, а мичман тихонько прикрывает дверь, сбегает с крыльца и идет вдоль плетня, взволнованный только что прочитанным. Ему кажется убедительным то, что он экспромтом выложил деду Ивану. Но он часто сталкивается с похожим дипломатичанием здесь, на границе. А с этим соглашаться не хочется.

«Дипломатией пусть занимаются дипломаты, – думает он. – Дело пограничников охранять границу бескомпромиссно».

Сердитый он приходит на заставу, сердито разговаривает по телефону с командиром группы катеров капитан-лейтенантом Седельцевым. И потому выслушивает особенно долгие нравоучения о необходимости быть бдительным, инициативным и находчивым.

Дежурный по заставе сержант Хайрулин во время всего этого разговора стоит рядом, и на его скуластом лице, как в зеркале, отражается сопереживание.

Забавный этот Хайрулин, пунктуальный до невозможности. Теперь-то уж пообтерся, а вначале, как прибыл, был прямо-таки ходячим анекдотом. Как-то на полевых занятиях отпросился на минуту в кусты, а потом возвращается и докладывает, что все исполнил. Смеху было! Даже банальные армейские розыгрыши, вроде вопросов о количестве нарезов в миномете или мифической задержке у пулемета, при которой спусковая тяга наматывается на надульник, с появлением Хайрулина зазвучали как новые. А он все терпеливо сносил и служил так, что дай бог каждому. И вот дослужился до младшего командира.

– Товарищ мичман, – говорит Хайрулин сразу же, как только Протасов кладет трубку. – Вас товарищ лейтенант Грач спрашивали.

– Разве приехал?

– Ночью прибыли. Теперь он на плацу строевую сдает.

– Кому сдает?

– Проверяющий приехал.

Протасов выходит на крыльцо, замуривается от ослепительного солнца. Когда открывает глаза, видит перед собой сияющую физиономию пограничника Чучкалова.

– А, земля! Сколько диверсантов поймал?

– Ни одного, товарищ мичман!

– Что же ты нашу Кострому позоришь? Девки пишут, будто теперь диверсантов даже там ловят. Как мышей. Выходят в поле, глядь – диверсант.

– Не верьте женщинам, товарищ мичман...

С этим пограничником познакомился он при необычных обстоятельствах – на танцах. Случилось так, что оба в один миг щелкнули каблуками перед Даяной. Был бы свой брат моряк, сказал бы, как другу, чтоб отваливал. А то ведь пограничник, да еще рядовой. Всех отличий – зеленая фуражка.

Поклонился Даяне, сказал шутливо:

– Выбирай, принцесса. Оба парни brave, оба ничего.

И пожал плечами, показывая сопернику: терпи, мол, каждая у нас имеет право выбирать и быть выбранной.

Даяна выбрала мичмана.

Но и пограничник настырный попался: в другой раз снова пошел приглашать Даяну. Тогда мичман отозвал его в сторонку и брякнул сгоряча: опоздал, мол, дорогуша, эта девушка мне вроде как жена.

А пограничник – ну прямо кот в сапогах – все-то ему надо знать доподлинно. Подошел к Даяне да и спросил напрямик:

– Товарищ мичман вас своей женой величает. Правда ли это?

Даяна в краску и – нос в платок. Молчит, понятно. Да разве девка на такой вопрос может при всех ответить? Этого чекист не учел. Принял ее молчание за согласие, щелкнул каблуками и ушел. Попереживал, понятно, но ничего – переболел.

А потом выяснилось, что оба они из Костромы. Тогда совсем корешами стали.

Протасов хлопает Чучкалова по плечу. Ему хочется поговорить с земляком о Даяне, но он слышит вдруг знакомые шаги за спиной, быстро оборачивается.

– Кого я вижу!

Начальник заставы лейтенант Грач стоит перед ним красивый, молодой, наутюженный, словно только что с магазинной витрины.

– Ну как, женатый небось? – радостно спрашивает мичман.

– Вроде бы.

– Ты не юли. Женитьба – шаг серьезный.

– Штамп в удостоверении есть.

– А жены нет, что ли?

– Пока нет... – И не выдерживает дурашливого тона, обнимает мичмана, тащит его на скамью под вишнями. – История вышла прямо как у Ромео и Джульетты. Увидел и – в лепешку. Ну, думаю, была не была. Подхожу и говорю: «Я человек военный, рассусоливать мне некогда, пошли в сельсовет».

– Так и сказал?

– Ну... почти.

Мичман трет шею, усмехается чему-то своему.

– Ладно, травы дальше.

– Точно говорю. Уломали в сельсовете. В пять нас расписали, а в семь я уехал. Вот гляди: Грач Мария Ивановна.

– Постой. Ты что же – в свадебную ночь уехал?

– Не в, а до. Я же говорю: отпуск кончился.

– Ну даешь! Не дай бог, мои моряки узнают.

– Смотри не болтай, – серьезно говорит Грач. – Она же скоро приедет.

– А ты знаешь, какая обстановка на границе?

– Да ну тебя! Вся жизнь у нас такая. Тишины ждать – холостяком останешься.

Они молчат, обмахиваясь фуражками. Солнце палит из-за реденькой облачной, вуальки, сушит полынь у дороги. С вишни падают в пыль мохнатые гусеницы, торопливо уползают в тень под лавку.

– Давай сегодня ко мне, – говорит мичман. – Поговорим за жизнь. Политрука тоже прихвати, пусть отдышится после инспекторской.

– Она еще не кончилась.

– Вечер же свободный. Приходите. Графинчик найдется. Дедов, правда.

– Зеленым фуражкам красные носы не идут.

– Так они только от белой краснеют.

– Не выйдет, – говорит Грач. – Тебе сегодня снова в секрет. Ориентировка получена...

Но вечером они все же встречаются. Сидят втроем на скрипучей койке в тесной канцелярии, покуривают, говорят «за жизнь». Политрук Ищенко сосет папиросу, пускает дым в открытое окно, устало жалуется на придирчивого майора, принимавшего строевую. Грач больше помалкивает, только все улыбается чему-то своему. А мичман, еще не остывший от утренней стычки, гнет свое:

– Не поддавайся на провокацию! – говорит он так, словно кого передразнивает. – Все в реверансики играем! Ах, бонжур, мадам! Ах, простите! Не доиграться бы... Сегодня они мне на фарватере пробоину вляпали, а завтра, может, и в наших водах обстреляют. Опять утираться? Они привыкают к наглости, а мы – к робости. Нет уж, боец есть боец. Наше дело не в дипломатию играть – давать сдачи. Иначе, глядишь, и драться разучимся.

– Не расходишь. Не те это разговоры, какие сейчас нужны, – перебивает его Ищенко. Он аккуратно тушит окурочку и встает. – Бойцу нужна вера, а не сомнения.

– Вот рубанут они нас, послушаешь тогда, что бойцы скажут.

– Тогда они будут воевать, а не разговаривать. И может, еще злее будут, потому что все знают, сколько терпели.

Грач недовольно морщится.

– Бросьте вы. Мне еще жену надо дожидаться.

– А чего тебе? Штамп есть – и радуйся.

– А ты чего тянешь? Даяна – девка что надо!

– Не знаю. Вот было бы, как в армии. Приказ – и женись, не рыпайся.

– Назначили бы тебе по приказу бабку Феклу. А Даянку твою кому другому – приказом, – поддразнивает Грач.

– Ну ладно, расфилософствовался.

– Ты сам начал.

– Разве? – Мичман растерянно трет нос. – Так я хотел, чтобы приказом-то... это... Даянку – мне...

Они втроем выходят на крыльцо, вместе отправляются к причалу. Еще издали мичман замечает на мостках белое платьице Даяны. На палубе катера, живописно облокотившись на зачехленный пулемет, стоит старший матрос Суржигов и что-то говорит девушке, показывая в улыбке все свои великолепные зубы.

– Ну я ему! – тихо говорит Протасов.

Ищенко громко кашляет. Мичман сердито взглядывает на него, а когда снова поворачивается к катеру, то видит одну – только Даяну. Суржигов сгинул, словно его и не было.

Политрук смеется, поощрительно хлопает мичмана по плечу.

– Чувствуется выучка...

Протасов тяжело прыгает на мостки, отчего стонут пересохшие доски, и Даяна едва удерживается на ногах, цепляется за невысокий борт.

– Все по местам! – командует он. На ходу берет Даяну за подбородок, быстро целует ее в испуганно сжавшиеся губы. И перешагивает на катер.

Даяна стоит не шелохнувшись, не опуская глаз, и ее лицо рдеет, то ли от смущения, то ли от вечернего солнца.

...Ох уж эти вечера! Утро с его бодростью и надеждами напоминает пустую корзину Даяны, идущей на виноградник. Корзину, которую предстоит наполнить. А вечер! О, вечер – это тоже вроде корзины, только не пустой, а уже опустевшей. Когда тело гудит радостью исполненного, когда позади заботы и можно уже не спешить, не тревожиться, а просто радоваться удачному дню и предстоящей ночи. Вечер – это когда из светлых глубин усталости всплывает второе дыхание и хочется петь, и любить, и глядеть, как великая художница-заря перемешивает краски на небе, на зеркале Дуная, на лицах людей.

Для всех вечер – окончание дня, для пограничников это прежде всего начало ночи. Вот и он, мичман Протасов, вместо того чтобы в этот час быть рядом с Даяной, стоит у окна рубки, глядит на неподвижные темные камыши, на красный шар солнца, скачущий, словно мяч, по гребенке дальнего леса. Вместо того чтобы сидеть у любимой вербы на околице и сдувать комаров с плеч девушки, он, Протасов, уходит на свой ночной пост, где тишина будет тревожной, неподвижность – напряженной, затаенной, опасной...

– Товарищ мичман, может, поднимемся повыше точки? – Голос у Суржикова подчеркнуто равнодушный, с зевотцей. – Поднимемся, а ночью поплывем по течению без мотора, тихо, как в секрете. А?

Катер, монотонно гудя, выходит из протоки. Солнце быстро тонет в камышовых плавнях, вскидывая высокую зарю. Дунай полыхает расплавленным металлом. По-над чужим берегом в серой тени лежат белесые хвосты ночного тумана.

Ближе к рассвету, когда тонюсенький серпик ущербной луны выкарабкивается из-под тучи, «каэмка» снимается с якоря и бесшумно плывет по струе вдоль берега. Течение разворачивает катер, покачивает его, словно податливый плот на стремнине. Тускло поблескивает палуба. Шевелит длинным стволом крупнокалиберный ДШК на носу. В люке у ног Протасова шумно дышит механик Пардин.

– Покурить бы, – с хрипотцой в голосе говорит он.

Мичман не откликается. Он стоит по-боевому – за рулем, смотрит, не отрываясь, как разворачиваются в окне рубки призрачные полосы берегов. И вдруг видит: что-то черное медленно вырисовывается из тьмы.

– Товарищ мичман!

– Прожектор! – тихо командует Протасов.

Узкий луч ослепительно вспыхивает на камышах, находит низкий борт лодки. Две маленькие фигурки в лодке разом пригибаются, серебром вспыхивают брызги под веслами.

– Механик! – сердито кричит мичман.

Двигатель несколько раз кашляет, словно сам Пардин, накурившийся до отвала, и наконец взрывается могучим гулом. Но этой минутной заминки оказывается достаточно, чтобы нарушители ушли на те лишние метры, которые могли их спасти. «Каэмка» прыгает вперед, несется наперерез лодке. Но Протасов уже понимает: повторяется вчерашнее. И он делает то, чего еще секунду назад не собирался делать: резко кладет руль вправо и направляет катер прямо на лодку. Сухая хрясь дерева, как треск костей. И сразу умолкают двигатели, и неожиданная тишина расплывается по воде, розовеющей первыми отблесками зари. Протасов торопливо оглядывает эту радужную воду, ищет нарушителей. Но их нигде не видно. Он ждет выстрелов с того берега. Но выстрелов нет, и Протасов начинает мучить себя раскаяниями. Теперь ему кажется, что нарушителей можно было взять, оттащив лодку от фарватера.

«Но их наверняка ждали, и, стало быть, без свидетелей не обошлось, – говорит он сам себе. И возражает раздраженно: – А мы разве не свидетели?»

«Они заявят протест. Тогда иди доказывай, что ты не верблюд».

«И мы заявим протест...»

Но он понимает, что никто у него протеста не примет. Что капитан-лейтенант Седельцев только продекларирует ему свои пятьдесят четыре прописные истины, а потом целый год будет рассказывать на всех совещаниях веселую историю о том, как мичман Протасов протест заявлял...

– Товарищ мичман, смотрите!

Протасов всматривается в сизую муть под чужим берегом и видит силуэты двух людей, торопливо выбирающихся на отмель.

– Опять упустили!

В сердцах он хлопает рукой по штурвалу и думает о том, что на этот раз ему не оправдаться, что капитан-лейтенант не упустит случая «показать власть».

* * *

Инспекторская – всегда испытание. Хоть и тот же столик на стрельбище с серыми досками, сто раз мытыми дождями и сушенными ветрами. Те же команды, те же пробоины на зеленой фанере. И ни больше их и ни меньше, чем при обычных стрельбах. А по количеству пота инспекторская сравнима разве что с марш-броском.

Вскидываются ростовые мишени, едва заметные на фоне темных кустов, хлопают выстрелы, пыль взметывается на дальнем бруствере, надрывно поют рикошеты. И солнце парит так, что можно задохнуться.

Лейтенант Грач сидит в стороне и мучается за своих пограничников. Иногда поднимается, кричит что-либо сержанту Говорухину, командующему стрельбой. Тогда проверяющий – майор из округа – оборачивается и спрашивает ехидно:

– Вы, лейтенант, уверены в своих подчиненных? Тогда не вмешивайтесь. Любой пограничник должен уметь действовать самостоятельно.

Говорухин молодец – огневую никто лучше его не знает. И стреляет – дай бог каждому. Но разве усидишь, когда перед тобой вся твоя застава как на ладони?

Конечно, майор – он умница: дает возможность начальнику поглядеть на дело своих рук со стороны. Где еще так вот себя увидишь? Но это же бессердечно – оставлять командира в роли наблюдателя! И Грач всерьез сердится и возбужденно высказывает свое возмущение политруку Ищенко, который хоть и не командует, а все же не лишен своих прав – ходит, беседует с отстрелявшими пограничниками, поглядывает за Говорухиным.

– Меня другое беспокоит, – говорит Ищенко. – Такая стрельба возле границы...

– Всегда так стреляли.

– Всегда была одна обстановка, а теперь другая.

Грач отмахивается – другого стрельбища все равно нет. Он любит Говорухиным – долговым, но удивительно собранным для своей комплекции. У него не болтаются руки, как это часто бывает у худощавых и длинноруких, каждый его жест – сама четкость.

Проверяющий поворачивается к начальнику заставы и кричит, обмакивая потный лоб белым казенным носовым платком:

– Сколько у вас мишеней?

– Четыре ростовых, три грудных и пулемет.

– Хорошо, – говорит майор и подзывает начальника заставы. – Обстановка следующая: наряд – два человека – остановил группу бандитов – четыре ростовых, три грудных и пулемет.

Бой быстротечный. В наряд пойдут Говорухин и... вы, – майор, обведя глазами строй, показывает на пограничника Горохова.

Грач огорченно кусает губы. За Говорухина он не беспокоится. Но Горохов...

– Показа-ать! – кричит майор, растягивая «а», словно при строевой команде.

Потом все гурьбой идут к мишеням. И пограничники тоже идут, и никто их не останавливает.

– Такая стрельба! – морщится Ищенко.

– Какая?

– Граница же рядом. Что на той стороне подумают?

Грач смотрит на политрука недоуменно, но тут же забывает о нем, потому что видит над бруствером сияющую физиономию сержанта Голубева, старшего в блиндаже, и догадывается: результат неплохой.

– Поздравляю, – говорит майор. – Поразили-таки пулемет. Делайте разбор, лейтенант.

Строй стоит бравый, улыбчивый, покачивает длинными штыками. Начальник заставы, как обычно, рассказывает о результатах стрельб, об успехах и ошибках. Упоминает о пулемете, который Говорухин догадался срезать, благодарит всех за отличную стрельбу. А потом командует Говорухину два шага вперед и от лица службы объявляет ему персональную благодарность. Но вместо четкого «Служу Советскому Союзу» слышит в ответ что-то невнятное.

– В чем дело? – удивляется Грач.

– Так ведь я, товарищ лейтенант, по пулемету-то не стрелял.

Грач оглядывает строй, находит глазами пограничника Горохова.

– Это вы?

– Не знаю, товарищ лейтенант.

– С перепугу, – говорит кто-то в строю.

– Отставить разговоры! Вы стреляли по пулемету?

– Так точно! Но я не знаю, попал ли...

«Хорошо это или плохо? – размышляет Грач, шагая впереди строя по твердой, как камень, пересохшей дороге. – Ведь есть же стрелки получше Горохова». Решает, что все же хорошо, ибо отличился именно он. Грач считал правильным отмечать благодарностями не вообще службу, а конкретные, видные всем успехи. Благодарности по случаю праздников и юбилеев, ему казалось, не могут ни воодушевить поощренного, ни явиться примером. Такие «юбилейные поощрения» нередко вызывают у других нездоровую зависть, чувство, какое возникает у людей, несправедливо обойденных. Ведь каждый человек в душе своей считает себя достойным. И самому внимательному командиру невозможно оценить все внутренние усилия подчиненного. Ибо иногда самая маленькая, незаметная для других победа над собой дается человеку труднее, чем видимый успех отличника, привыкшего срывать высшие оценки с такой же легкостью, как яблоки в перестоявшем саду.

Строй входит в тень редкого леса, где и земля помягче, и воздух гуще.

– Песню!

Летит песня над тополями и вербами, над близкими камышами, темнеющими в просветах леса.

По долинам и по-о взго-орьям

Шла дивизия впе-еред!..

Сразу становится покойно на душе. И текут мысли самые что ни на есть мирные. О былом, о Марии, так внезапно сломавшей привычный распорядок его жизни.

Размышлять в строю Грач привык в училище. Это пришло, как самозащита от утомительного однообразия длинных маршей, когда горели пятки, расплюснутые тяжестью пуле-

метной станины, и пот заливал глаза. Тогда он мысленно начинал перелистывать страницы прожитого: влажные апрельские прогалины возле дома, бабушек на завалинке, авиамодельный кружок в Доме пионеров, и сверкающее половодье за городской дамбой, и ночной хохот козодоя над костром, и «гадких» соседских девчонок, в какой-то срок превращавшихся в сказочных лебедиц.

К девушкам у него было отношение особое. Он боготворил их, подражая героям старых книг. Тургеневская Ася была для него образцом женской нежности. Ее портрет он срисовал из книжки по клеточкам и повесил дома над кроватью. Это вызывало насмешки друзей. Он терпел и молчал, замыкаясь.

А однажды он вступился за женщину. Услышав что-то грубое, оскорбительное, сказанное вслед молодой, любившей погулять соседке, Грач возмутился так неистово, что парни опешили.

– Как можно о женщине?! – кричал он, и губы его тряслись. – Да кто бы она ни была! Надо видеть в человеке хорошее!

Парни хохотали. А Сашка, тот самый, что умел делать для малышей лодочки из сосновой коры, подошел тогда, похлопал по плечу и сказал:

– Могу спорить, у тебя нет девчонки.

– Есть, – соврал Грач. В шестнадцать лет он еще не умел признаваться, что у него чего-то нет. Уж такой это возраст.

Но Сашка был старше и понимал больше.

– Пошли в парк, познакомлю, – сказал он.

И Грач пошел, замирая сердцем в ожидании чего-то особенного, более интересного, чем даже рыбалка или показывание картинок через эпидиаскоп.

Тот вечер был теплым и тихим. По темным аллеям парка шеренгами ходили парни, шеренгами ходили девчонки, перекрикивались на расстоянии, будто переругивались деланно-равнодушно, как соседки, уставшие от свар.

Прошли один круг, прошли другой. На третьем Сашка подтолкнул Грача к какой-то толстухе. Она оглядела его надменно, повернулась и пошла одна.

– Все в порядке, – сказал Сашка. – Давай причаливай.

И Грач пошел за ней следом, не зная, что делать. Девушка посмотрела на него через плечо, усмехнулась и пошла дальше. А Грачу вдруг стало стыдно. Он нырнул в кусты, исцарапавшись, продрался на другую аллею и, ни на кого не глядя, побежал домой. Звезды порхали, как мотыльки. Издалека плыла музыка, которой он не знал, но от которой хотелось плакать. В те минуты Грач казался себе героем, сохранившим верность своей томной Асе.

Но упрек Сашки не прошел бесследно. На больших переменах в школе Грач стал ходить по коридорам, присматриваясь, в кого бы можно влюбиться.

И нашел ее.

Потом Грач пытался представить себе эту девушку и не мог. Губы как губы, нос как нос. Вот разве коса – большая, пепельно-русая, с бантом на конце. И еще что-то, чему не было названия. Но это «что-то» было главным, вызывало приятную слабость и непривычную растерянность каждый раз, когда он видел ее стоявшей одиноко у окна в школьном коридоре.

Девушку звали Тоня. Это он узнал позже от Гали из того же класса, с которой познакомился в целях конспирации. На больших переменах он бегал на другой этаж, будто бы поболтать с Галей, а на самом деле для того, чтобы хоть краешком глаза увидеть Тоню. Ее случайный взгляд лишал его дара речи. А когда она ему улыбнулась однажды, он сбежал с уроков, и ушел за город, и ходил один по сырому от схлынувшего половодья лугу, и пел откуда-то запомнившееся:

Эх, гитара, звени потихонечку —

Я люблю одну славную Тонечку...

А потом он увидел ее с другим. И это заставило его рассказать о своих чувствах давнему приятелю Женьке. И Женька прочел ему назидательную лекцию. Не потому, что был опытнее. Просто выкаблучивался, как всякий, уверовавший, что может учить.

Ничего не запомнил Грач из Женькиных нравоучений. Кроме одного – упрека в слабости. И хотя в классе все знали, что терпения разгрызать задачки или зубрить хронологию Грачу было не занимать, слова Женьки гвоздем засели в мыслях. С того дня он начал читать все, что попадалось о воспитании воли, к ужасу матери, стал истязать себя всякими «экспериментами».

Однажды он прочел, что смелые, волевые, решительные люди лучше всего воспитываются в армии. С тех пор он стал мечтать о военном училище.

А с женщинами Грач так и остался робок. И когда увидел Машу, то повел себя с ней не лучше, чем, бывало, с Тоней: водил в кино ее подруг, кормил их мороженым и мечтал о случае, который мог бы сблизить его с Машей. Просто подойти и сказать о своих чувствах он не решался. Это казалось ему чуть ли не оскорблением для нее.

Так и дотянул до последнего дня. Тогда, как обычно отправившись провожать другую, он вспомнил, что забыл на садовой скамье портсигар. И вернулся. И увидел Машу плачущей. Он просто не мог не спросить, что случилось? А она вместо ответа вдруг положила ему руки на плечи, голые по локоть руки, невесомые...

Песня в строю начинает угасать, и Грач стряхивает с себя думы. Песня сменяется тревожным говорком в строю. Леса уже нет, вдоль дороги, сразу же за кюветом, расстилается сырая низина, отгороженная от реки стеной камыша. Грач поднимает голову и видит, как из-за поворота, скрытого разлапистыми осокорями, выплывает черный румынский монитор. Корабль медленно сворачивает на фарватер и идет на самом малом, параллельно строю пограничников. Даже без бинокля видно, что там сыграли тревогу. Ибо матросы бегают по палубе, сдергивают чехлы с пушек и пулеметов, поворачивают стволы на советский берег.

Тишина повисает над дорогой. Только сапоги дробко стучат по окаменевшей от жары земле.

- Перепугались, мамалыжники, – смеется кто-то в строю.
- Надо ходить другой дорогой, скрытной, – говорит Ищенко. – Так мы их провоцируем.
- Таиться советуешь? На своей-то земле?
- Есть приказ: не поддаваться на провокации.
- Именно. Не поддаваться. Ни в коем разе.

Грач поворачивается к строю и командует так, словно перед ним по меньшей мере целый батальон:

– Песню!

И в тон ему так же несоразмерно громко вскидывается над Дунаем песня:

Колыхались знамена
Кумачом последних ран...

* * *

Протасов глядит издали на свой катер, и душа его зудит: скверное дело, когда нет своей палубы. Получилось хуже, чем он ожидал: Седельцев приказал сдать катер Пардину и утром в понедельник явиться для личных объяснений. Мичман раздвигает тальник, собираясь спрыгнуть на тропу, ведущую к причалу, но передумывает. Поколебавшись, он медленно идет на

заставу, в нерешительности останавливается у ворот: на заставе такой шурум-бурум по случаю субботы, что ему уже не хочется заходить.

Некуда, совсем некуда приткнуться человеку, у которого отобрали дело. Крутится около занятых людей, словно судно, потерявшее управление. Солнце опускается за тополя, тонет в кровавой бахrome тучи. Неподалеку занудливо, на одной ноте, лает дворняга. Откуда-то из-за крыш, с другого конца села, слышится грустная бабья песня.

Мичман идет по окраинной улице и разговаривает сам с собой. Он говорит, что не нашивок ему жаль – обидно терять их за здорово живешь, что не так надо было класть руль в тот раз и ни к чему было давать волю своей злости и топить лодку. И еще многое другое приходит в голову. Как в пословице, по которой «хорошая мысль приходит опосля».

Возле своей хаты мичман замечает маленькую фигурку, прижавшуюся к дереву.

– Даяна? Ты чего?

Он говорит, как всегда, грубовато-снисходительно. Но душа его замирает в ожидании.

– Я к тебе, – говорит Даяна.

Мичман подходит вплотную, целует ее пухлые полудетские губы. И получается это само собой, ну точно так, как мечталось в одиноких ночных дежурствах. Потом он берет ее за руку и ведет через улицу в дом, в свою холостяцкую комнатку, где пахнет сырой штукатуркой и одеколоном «Тэ жэ».

– Хозяин бы не увидел, – говорит Протасов в калитке. Не для себя говорит, для Даяны.

Когда светлеет маленькое оконце, Даяна осторожно прижимается к нему пухлыми зацепованными губами, тихо шепчет:

– Ну, я пойду.

– Куда! Ты останешься у меня.

– Останусь, – соглашается она. – Только сначала ты должен зайти к маме.

Он идет ее провожать по пустынной улице. На лугах лежат полосы тумана. Над тополями в полнеба висит туча, заслоняет звезды.

– Ну иди, – вздыхает Даяна. – Теперь я сама.

Но он доводит ее до дома, подсаживает на подоконник. А когда поворачивается, чтобы уйти, видит перед собой тетку Марылю – мать Даяны.

– А, вот он кто! – кричит тетка Марыля так, словно хочет разбудить все село. – Ну, я задам этой мерзавке, уж я ей задам!

– Я хочу жениться на Даяне, – бормочет Протасов.

– Жених! Явился среди ночи! А ну убирайся, пока цел!

В руках у нее появляется палка. Но она не успевает замахнуться. Мичман быстро кладет руку на палку и чмокает тетку Марылю в щеку.

– Не сердитесь, мама, – говорит он. Перепрыгивает через грядку и исчезает в зарослях цветов у дороги, предоставив тетке самой разгадывать, что сие означает.

Протасову легко в этот рассветный час, будто и не было недавних неприятностей. Он размашисто шагает по узкой тропе через поле, сшибая росу широкими клешами. Тихая радость переполняет его. Он останавливается, с удовольствием вдыхает влажную свежесть луга. И вдруг задерживает выдох: замечает темный силуэт человека, прицепившегося к самой верхушке столба.

– Эй?! – Ему подумалось, что это кто-то из пограничников чинит линию связи.

Человек кубарем скатывается со столба и бросается к кустам. Стремительным прыжком, усиленным еще не остывшей радостью, мичман догоняет его, хватая за руку.

– Кто такой?

В нем еще нет злости, и действует он скорее по привычке, приобретенной здесь, на границе. Но тут мичман видит, что человек другой рукой пытается выдернуть из кармана зацепившийся там пистолет.

– Ах вон ты как! – Он перехватывает руку и, не размахиваясь, бьет незнакомца ребром ладони по шее. И когда поднимает его с земли за ворот старой крестьянской свитки, то, к изумлению своему, узнает в человеке того самого «рыбака», который удрал от него недавно и из-за которого все его теперешние служебные неприятности.

– Попался, «рыбачок»! – Мичман представляет себе удивленную физиономию капитан-лейтенанта Седельцева и улыбается. – Ну-ка, пошли на заставу.

– А я не пойду, – неожиданно заявляет нарушитель.

– А я тебя пристрелю.

– Стрелять побоишься. У вас приказ.

Нарушитель нахально ухмыляется, и это окончательно выводит Протасова из себя. Он берет его за плечо, рывком разворачивает и дает такого пинка, что тот бежит по тропе, покачиваясь и приседая от боли.

Они уже подходят к окраинным хатам села, когда вдалеке над Дунаем трепещущей птицей взлетает красная ракета.

* * *

Лейтенанту Грачу не спится. То ли предчувствия мучают, то ли настороженность, что растет изо дня в день. Расстегнув ворот и ослабив ремень, он садится на свою скрипучую койку, кладет голову на стол и думает о Маше.

В половине второго ночи, проинструктировав очередную смену, снова уходит в канцелярию и опять думает о своей будущей женатой жизни, о заставе, о мичмане Протасове.

Один за другим возвращаются с границы наряды, докладывают одно и то же: на границе необычная тишина.

– Не к добру тишина, – говорит кто-то из пограничников, громыхая винтовкой у пирамиды.

Эта случайно оброненная фраза гвоздем вонзается в сознание. Тишина на границе. О чем еще может мечтать начальник заставы? Но неожиданная тишина! Ведь все последние ночи тот, чужой, берег дышал затаенно: из глухой темени доносились крики, плач женщин, скрип подвод, погромыживание железа...

Грач решительно встает, застегивает ворот.

– Горохов, пойдете с мной, – говорит он в дежурке.

– В полном?

Он собирается сказать, что по границе налегке не гуляют, но вспоминает, что уже говорил это Горохову, и молча выходит на крыльцо.

Тихая ночь нежится над селом. Восток уже начинает светлеть: в той стороне вырисовываются тополя, трубы деревенских хат. Запад черен, как всегда перед рассветом. Оттуда наползает туча, гасит звезды.

Они выходят на дозорную тропу, неслышно идут вдоль плотной стены камыша. Полы брезентового плаща сразу тяжелеют от росы, липнут к голенищам. Грач чувствует, как стынут от сырости колени, останавливается на минуту. И тотчас ему на пятку наступает идущий следом Горохов.

– Когда вы станете пограничником? – сердито говорит Грач.

– Есть, держать дистанцию, – догадывается Горохов и идет назад.

Глухая тишина висит над округой. Еле слышно вздыхают камыши под слабым ветром. На луговине серым одеялом лежит туман.

В том месте, где тропа поворачивает в заросли камыша, их окликают:

– Стой, кто идет?

Лейтенант узнает голос Хайрулина и, невольно подражая его неисправимому акценту, тихо отвечает:

– Своя!

– Кто своя! Пароль!

– Мушка.

– Нэ-эт, нэ мушка.

– Приклад.

– Нэ-эт, нэ приклад.

– Хайрулин, своих не узнаешь?

– А вы, товарищ лейтенант, пароля забыли?

– Я-то не забыл, да ведь ты не часовой в деревне. Здесь граница. А по границе ночью ходят или свои, или совеем чужие. Своих надо по шагам узнавать, а чужим сразу командовать: «Руки вверх!» Иначе вместо пароля можно получить пулю. Ну, как дела?

– Тихо, товарищ лейтенант.

– То-то и оно. Где остальные?

– Здесь. – Хайрулин дважды сдвоенно клацает прицельной планкой – условный, сигнал «Все ко мне».

– Отставить! – говорит Грач. – Продолжайте нести службу.

Он шагает к тропе, но тут сзади из камышей слышится сдавленный волнением голос Горохова:

– Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант!

Так зовут, когда случается что-то чрезвычайное. Горохов стоит глубоко в воде, едва не черпая голенищами, и показывает куда-то вдаль, в просвет меж камышами. Этот просвет был вырезан специально для наблюдения неделю назад, и Грач, с удовлетворением подметив эту свою предусмотрительность, входит в воду, вглядывается в серую вуаль тумана.

– Плывет кто-то. Там, правее.

В густых сумерках, временами сливаясь с противоположным берегом, движется что-то массивное.

– Гребут. Я слышу.

Теперь и сам Грач слышит всплески весел и понимает: кто-то подгребает к нашему берегу, используя сильное прибивное течение. Это не удивляет: за последние месяцы пограничники привыкли к частым «ошибкам» чужих «рыбаков». Удивляется он через минуту, когда различает в сумерках три лодки с солдатами.

– Перепились, что ли? Или заблудились? – Ему вспоминается фраза, трижды повторенная на недавнем совещании начальником отряда подполковником Карачевым: «Не поддаваться на провокации!» И он успокаивается. – На дамбу все! И ни звука!

Он прячется за невысокий куст на дамбе и, не шевелясь, смотрит на темные силуэты лодок, плывущих по середине реки. «Выдержка, – уговаривает он сам себя. – Выдержка и дисциплина!»

Дисциплина для Грача всегда была превыше всего. С первых дней службы он принимал ее не как неизбежное зло – как благо, на котором стоит все доброе и в обществе, и в нем самом. «Ты исполнительный, далеко пойдешь», – не раз говорили ему еще в училище.

Но в последнее время все трудней было оставаться пунктуально исполнительным. В последнее время он чуть ли не ежедневно получал новые приказы, инструкции, указания и дополнения к указаниям. Одни предписывали отменить усиленную охрану границы, другие – повышать бдительность. Одни требовали решительно пресекать какие-либо нарушения границы, другие указывали на необходимость максимальной выдержки. Стремясь исполнить все в точности, Грач искал и находил «золотую середину», которая, ему казалось, отвечала строгим параграфам и удовлетворяла его самого, своими глазами видевшего положение на границе.

Отмену усиленной охраны он понимал как указание скрыть от соседей эту усиленную охрану. И он увеличивал количество секретов, приказывал по ночам скрытно копать стрелковые и пулеметные ячейки, расчищать секторы обстрела так, чтобы их ось была направлена вдоль нашего берега и обеспечивала внезапный отсекающий огонь.

Днем Грач не таил жизнь заставы: вот мы занимаемся строевой подготовкой, поем песни, шутим с девушками – смотрите, соседи, добрые вы там или недобрые, – мы мирные люди. По вечерам на заставе шумно игрался «отбой», и пограничники шли спать. Чтобы через час тихо уйти в ночь, в шепчущиеся нетронутые заросли камышей на границе.

Так Грач понимал и так исполнял приказы и распоряжения последних недель; он искал и находил в них не противоречие, а скрытую логику.

– Сорок шесть человек. С пулеметами, – шепчет Горохов.

– А у нас четыре винтовки. И только восемь гранат.

– И восемь гранат не пустяк...

Над противоположным берегом взлетает красная ракета, высвечивает кроваво речной туман, долго трепещет в вышине и падает, волоча за собой дымный хвост. И сразу лодки круто разворачиваются к нашему берегу. С той стороны вдруг начинает бухать крупнокалиберный пулемет. Пули звучно хлещут по дамбе, стонут рикошеты.

– Стреляют! – удивленно говорит Хайрулин.

Лейтенант понимает его. Он ловит себя на том, что и сам с любопытством прислушивается к этим новым звукам, даже по-мальчишески радуется им: вот и он теперь может сказать, что обстрелян.

Но, заглушая это ощущение, стремительной волной поднимается тревога, неясная и бесформенная, как призрак.

«Что это? – думает он. – Провоцируют? Но ведь это же нападение. Это же...»

И вдруг рядом гремит выстрел.

– Не стрелять! – негодуя кричит Грач. И тотчас падает, потому что тихие лодки вдруг ощериваются огненными всплесками.

Где-то рядом взвизгивает пуля, бьет по щеке тугой волной, будто кто-то хлещет по воздуху ивовым прутом.

– Огонь!

И ему сразу становится легко от этой своей решимости.

Торопливо ухают трехлинейки. На лодках чаще машут весла, кто-то падает в воду, кто-то перевешивается через борт. Но лодки все ближе, подходят к берегу, скрываются за высокой стеной камыша.

– За мной! – командует Грач. И сползает вниз, и бежит за дамбой в сторону, падает в густую, мокрую от росы траву. – Приготовиться к бою!

Он приподнимается и видит посреди реки невесть откуда взявшийся пустой баркас, подгоняемый течением к нашему берегу.

– Сорвало, видать, – говорит Хайрулин.

– Для пустого слишком глубоко сидит.

– Давайте я его пулей пощупаю?

– Отставить! Как думаешь, где он пристанет?

Они прикидывают глазами течение.

– Как раз к тому тальнику будет.

– Давай туда. Как подойдет – сразу гранатами, понял?

Пулеметы с того берега бьют и бьют по тому месту, где только что были пограничники. Воздух ноет от рикошетов.

– Приготовить гранаты!

Грач не сомневается, что дело дойдет до гранат, а может, и до рукопашной. Ибо от камышей до дамбы какая-нибудь сотня метров, а враги не могут не понимать, что дамба для них не только успех, но и единственное спасение.

Темные фигурки разом выскакивают из камышей, неуклюже, прыжками бегут по зыбкой луговине. У пяти или шести перед грудью вспыхивают частые огоньки автоматных очередей.

– По офицерам и автоматчикам! – командует Грач. И стреляет из пистолета, целясь в прыгающие головы. Но те, в кого он целится, почему-то не падают. Это удивляет и пугает его, ибо и в училище, и здесь, на стрельбище, всегда было так, что мишени после выстрелов переворачивались.

– Гранатами – огонь!

Он видит, как пограничники дружно взмахивают руками, успевает даже заметить эти кувыркающиеся в воздухе черные бутылочки. Но еще до того, как вскидываются взрывы, откуда-то со стороны знакомыми длинными очередями начинает бить наш «максим».

И сразу гаснут вспышки выстрелов на темном фоне бегущих фигур, и до Грача как-то вдруг доходит, что перед ним спины врагов и что атака отбита.

Слева от тальника доносится сдвоенный взрыв. Краем глаза Грач успевает увидеть разлетающиеся доски и темные изломанные силуэты падающих в воду людей.

– Хайрула дает! – кричит Горохов. Он машет свободной левой рукой. И вдруг, ойкнув, сползает вниз, с удивлением разглядывает залитую кровью ладонь...

Через полчаса они возвращаются дамбой в село, ведя перед штыками пятерых прихрамывающих солдат. С того берега с запоздалым остервенением бьют пулеметы, косят камыши, режут ветки прибрежного тальника.

– Ай да снайперы! – смеются пограничники. – До чего метки: с такого расстояния Горохову в палец попали!

Всем весело. Грач тоже едва сдерживает улыбку. Еще бы: никогда прежде не выдавший настоящего боя, он так блестяще отбил хорошо организованную вооруженную провокацию. Думая об этом, он невольно сбивается на предполагаемый разбор операции в штабе отряда. И единственная потеря – палец пограничника Горохова – кажется ему хорошим поводом для шуток, которые на серьезных совещаниях так сближают людей, независимо от рангов.

«А вдруг нагорит? – ловит он себя на тревожной мысли. – Вдруг начнут доказывать, что первый начал?»

Он хмурится, приказывает коротко и жестко:

– За мной, на заставу, бегом!

На заставе обычная тишина. В помещении сидит дежурный, непрерывно вызывает «Грушу».

– Где Ищенко?

– На правом фланге. Как только вы ушли, он и явился. Не спит, говорит, пойду наряды проверять, – подробно докладывает дежурный. И тихо, будто кто чужой может услышать, добавляет: – На правом фланге тоже бой был.

– Что там?

– Неизвестно.

– Связного послали?

– Послали. Еще не вернулся.

– Где катер Протасова?

– Ушел на правый. Там бой был, – повторяет дежурный.

– Телефон – в блиндаж. Сержанта Голубева с отделением ко мне! – приказывает Грач.

Но дежурный, вопреки обыкновению, не уходит.

– Товарищ лейтенант! – с непонятной таинственностью в голосе говорит он. – Там женщина дожидается.

Сердце прыгает и тут же обрывается, расплющивается в тревоге и печали. Так, завидев охотника, прыгает марал, вкладывая в последний прыжок всю свою надежду. И падает на камни, не сильный, не красивый – беспомощный.

– Кто?

– Марией Ивановной назвалась.

Грач бежит через двор в свою мазанку, распахивает дверь. Его жена, его Маша, стоит посреди комнаты и разводит руками: вот, мол, приехала, уж не взыщи.

Радость окутывает его не испытанной прежде теплотой. Так бывает, когда попадаешь с мороза к натопленной печке, прижимаешься к ней и руками, и лицом, и грудью и таешь весь в немыслимой слабости.

Прежде Грач и поцеловать-то свою Машу как следует не успел. И теперь словно торопится куда, все гладит ее плечи и все говорит, говорит, что-то необязательное, неважное.

– Товарищ лейтенант! Политрука убило!

Грач вскакивает, резко оттолкнув жену. В распахнутых настежь дверях стоит дежурный, бледный, с испуганными, незнакомо большими глазами.

– Связной прибежал. Говорит – насмерть...

Связной стоит у крыльца, ладонью вытирает пот, и его лицо, темное от пыли, становится полосатым.

Они бегут напрямик, срезая повороты извилистой дозорной тропы. Местами вламываются в камыши, пересекают протоки, черпая воду голенищами, шлепают по топкому илу. И, выбравшись на сухое, каждый раз слышат позади глухой шум камышей: следом бежит отделение Голубева.

Из отрывочных фраз вконец запыхавшегося связного Грач наконец понимает, что произошло на правом фланге.

Там началось еще до ракет. Около сорока нарушителей высадились на наш берег. Четверо вышли из камышей и спокойно, словно по своей территории, зашагали вглубь, к озеру, которое в том месте близко подступает к реке. «Стой! – окрикнул их Ищенко. Он поднялся и шагнул навстречу. – Вы находитесь на территории Союза Советских Социалистических Республик. Требую немедленно...» Его слова оборвала автоматная очередь. Тогда пограничник Говорухин без приказа открыл огонь.

– Вы же знаете, как он стреляет! – не то радуясь, не то ужасаясь, выкрикивает связной.

– Ну!

– А потом «каэмка» подоспела и наши с пулеметом. С двух сторон прижали, товарищ лейтенант, с двух сторон!

У одинокого осокоря лейтенант останавливается так резко, что связной с разбегу налетает на него. Но Грач даже не оглядывается, он смотрит вперед, туда, где четверо пограничников волокут на мокром плаще что-то большое и тяжелое.

По измятой окровавленной гимнастерке политрука трудно понять, куда попали пули. Но одна оставила ясную отметину: она вмяла правую щеку, сделала лицо неузнаваемым.

Грач рывком разрывает на нем ворот, прижимается ухом к окровавленной груди и отшатывается, ощутив холодную, липкую сырость неживого.

И тогда ему впервые приходит мысль, что все случившееся не простая провокация, что это, может быть, война.

За дальними осокорьями всходит солнце, трудно выкарабкивается из цепкой тучи на горизонте. На луговинах тают последние ошметья тумана. Вдали, над камышами, зеркалом сверкает река.

– Несите, – устало говорит Грач. И тут же резко вскрикивает: – Отставить!

Из-за недалекого мыса на безупречную чистоту дунайских вод выползал черный вражеский монитор...

* * *

Втолкнув задержанного в дежурку, Протасов бросается к берегу. Испуганные, бледные в сером рассвете лица светлеют в каждой калитке. Кто-то кричит вслед тревожным голосом, что-то спрашивает.

Его радует, что «каэмка» уже на ходу, рокошет моторами, пускает по гладкой воде зябкую рябь.

– По местам! Боевая тревога!

– Погодите!

Из кустов выбегает группа пограничников вместе со старшиной заставы. Они втаскивают на катер станковый пулемет, быстро и ловко, словно не впервые, пристраивают его на корме.

«Каэмка» резко берет с места, вылетает из-за изгиба протоки на широкую, дымящуюся слабым туманом гладь реки. Встает рассвет, окрашивает воду розовым отблеском зари. Вдали ухают выстрелы: и там, на восходе, и там, где еще лежит серый сумрак уходящей ночи.

– Право руля! – командует Протасов. И тут же отбирает руль у Суржикова. – Готовь пулемет.

– Красотища какая! – спокойно говорит Суржиков. – В такую погоду не стрелять бы, а целоваться.

Это спокойствие матроса вдруг словно что-то останавливает в мичмане, и он говорит успокоенно-ворчливо:

– Погоди, еще поцелуют. С того берега.

– В наших водах?

– Пули о границу не спотыкаются.

И в тот же момент в темной стене правого берега вдруг вспыхивает дрожащий огонек и над рубкой коротко взвизгивают пули.

– Вот суки! – ругается Суржиков. – Товарищ мичман, дайте я его...

– Еще успеешь.

Протасов переводит рычаг на «малый», и катер сразу оседает. На том берегу снова вспыхивает огонек пулеметной очереди, но свиста пуль уже не слышно, только бухающий звук гудит по реке.

– Крупнокалиберный лупит! Это они от пикета.

Катер снова переходит на «полный» и в следующий миг с ходу влетает в узкую протоку за низким сырым островом, поросшим тальником.

Перестрелка на границе все гремит: сзади – редкая, приглушенная расстоянием, впереди – частая, беспорядочная, близкая.

Едва катер выскакивает из-за острова, как над ним снова начинают свистеть пули.

– Товарищ мичман! – Голос у Суржикова просительный, незнакомый.

– Отставить! – зло кричит Протасов и добавляет раздраженно: – Ты что, обалдел? Приказа не знаешь?

Он круто кладет руль вправо, по-снайперски вводит «каэмку» в узкий просвет в камышах.

– Прыгай! – кричит пограничникам.

Перестрелка на нашем берегу гремит совсем рядом. Раскатисто ухают трехлинейки, незнакомо трещат автоматные очереди, словно кто-то большими рывками рвет сухой брезент.

«Кто там? Где?» – с беспокойством думает Протасов, выводя катер из камышей. – Как бы по своим не рубануть».

И вдруг видит черные лодки, вдвинутые в камыши. И сразу же от лодок выплескиваются навстречу вспышки выстрелов. Пули бьют по борту, звенит стекло.

– Огонь! – зычно кричит Протасов.

Сразу вскипает вода возле лодок. Камыши шевелятся, словно по ним проходит шквал.

– Вот и прижали! Теперь им хана!

Стрельба в камышах затихает. С той стороны Дуная, уже не опасаясь попасть по своим, запоздало бьют по нашему берегу вражеские пулеметы.

Протасов уводит катер за остров, вплотную притирает его к стене камышей.

– Мы их и отсюда достанем. Суржиков, гляди, чтоб ни один не уплыл.

Суржиков не отвечает. Он перевязывает себе руку выше локтя, держа в зубах конец бинта.

– Стрелять сможешь?

– Да пустяки, – говорит Суржиков. Роняет бинт, быстро подхватывает его и торопливо кивает.

Протасов обходит катер, сокрушенно качает головой, считая пробоины, заглядывает в машинное отделение.

– Эй, дымокур! Как там?

– Порядок! – отвечает снизу глухой голос.

Необычная односложность заставляет Протасова протиснуться вниз, в густой промасленный жар машины. Он видит черные смоляные бока двигателя, словно бы забинтованные, белые, в асбесте, трубы, и на одном из этих бинтов-трубопроводов – четкий кровавой отпечаток ладони.

– Пардин!

Механик сгорбленно идет навстречу по узкому проходу, и Протасов холодеет, увидев не широкое, всегда улыбающееся лицо Пардина, а сплошную черно-кровавую маску. Он кидается к нему, бьется головой о плафон. И в клубящемся сизым дымом косом солнечном луче под иллюминатором вдруг видит, что механик улыбается.

– Стеклом порезало. Только что окровянило, а так – ничего.

Снова мирная тишина лежит на реке. Раннее солнце поигрывает на легкой ряби Дуная. Ветер шевелит камыши, шумит ими однотонно, успокаивающе.

– Может, выключить? – спрашивает Пардин, высунув из люка свою перебинтованную голову.

– Погоди, – говорит Протасов. Его беспокоит эта тишина и неподвижность. Ни разу прежде не знавший настоящего боя с его особыми хитростями, Протасов все же чувствует, что это неспроста – такое гробовое молчание. Он ждет, когда пограничники, прочесывая прибрежные заросли, покажутся по эту сторону камышей.

Но вдруг он видит совсем не то, чего ждал: из-за мыса, лежащего темным конусом на солнечной ряби, медленно выплывает монитор, прикрывая бронированным бортом с десятков десантных лодок.

... Не странны ли мы, люди? Жаждем решительного и бескомпромиссного, а когда приходит это желаемое, мы начинаем мечтать об обратном и где-то в глубине своего разума непроизвольно включаем защитительный рефлекс великой утешительницы – надежды, что все обойдется. И даже когда не обходится, мы не теряем надежды на чудо. До конца не теряем, даже когда и надежды не остается.

Вот так и мичман Протасов, ярый сторонник решительных действий, мечтавший прежде отваживать нарушителей не долготерпением, а внезапным огнем, сейчас, наблюдая в бинокль за приближающимся монитором, больше всего желает, чтобы тот тихо прошел мимо.

«Может, это все же случайность? – с надеждой думает он. И понимает нелепость своих надежд. – С извинениями не ходят, держа оружие на изготовку. Это новый десант...»

Но что должен делать он, мичман Протасов? Открывать огонь, когда десант начнет высаживаться? Но тогда будет поздно: его, неподвижно стоящего в протоке, вмиг расстреляют пушки монитора. А враги подойдут к камышам, и пограничники на берегу потеряют их из виду, не смогут вести прицельный огонь...

Протасов оглядывается: две пары глаз внимательно и строго смотрят на него, ждут.

– Что, братва? – говорит он. И сразу командует: – По местам! Бить по лодкам, только по лодкам!

Вылетев из протоки, катер круто разворачивается на быстрине и идет прямо на монитор. Пули высекают огоньки из темных бронированных бортов. На лодках суета, вспышки выстрелов. Кто-то пытается залезть на высоко поднятую палубу, кто-то падает в воду. Монитор сбавляет ход, оставляя за кормой на белесой поверхности Дуная весла, доски, круглые поплавки человеческих голов.

Слева от «каэмки» вырастает куст разрыва, вскидывается белый фонтан, и брызги хлещут по рубке, жесткие, как осколки. Следующий снаряд прошивает оба борта и взрывается по другую сторону катера.

– Бронебойными бьют! Они думают: у нас – броня!

– Пусть думают...

Новый разрыв вспыхивает прямо под форштевнем. Визжат осколки. Протасов больно бьется о переборку, но удерживается на ногах, уцепившись за штурвал, трясет вдруг отяжелевшей головой, непонимающе глядит на Суржикова, ползущего по накренившейся палубе.

– Меняй галсы! – кричит он сам себе, наваливаясь грудью на штурвал. И еще послушный катер круто уходит в сторону, к острову.

Пулемет снова бьет, длинно, нетерпеливо. Протасов видит, что лодки отваливают от монитора, рассеиваются по реке. На них уже не так тесно, как было вначале, и стреляют оттуда уже не по катеру – по берегу.

«Догадались наши, по лодкам бьют!» – радуется он.

А катер все больше сносит течением. Он уже плохо слушается руля, пенит воду разбитым форштевнем. Двигатель чихает простуженно и совсем умолкает. И снова рядом взметываются разрывы: артиллеристам на мониторе не терпится расстрелять неподвижную мишень.

Протасов выходит из рубки на изуродованную, неузнаваемую палубу. Он перехватывает у Суржикова горячие ручки пулемета, успевает ударить по лодкам широким веером пуль, прежде чем перед ним вспыхивает белый ослепляющий шар...

Тихий вибрирующий звон плывет в вышине, о чем-то напоминая, увлекая куда-то. Протасов знает, что надо проснуться, потому что первый урок – география, который никак нельзя проспять: географичка Марья Николаевна – классная руководительница. Он с усилием размыкает веки, видит окно, залитое солнцем, комод в простенке, покрытый кружевной скатеркой, мать, копающуюся в нижнем выдвижном ящике. И по тому, что звонок звучит дома, догадывается, что проснулся во сне. С ним это уже случалось и всегда пугало его ощущением неведомой опасности. Он делает усилие, шевелит рукой и поворачивается на бок. Над ним сияет небо, такое голубое, что трудно смотреть. Перед глазами качаются красноватые листья конского щавеля. Протасов приподнимается на локте и долго глядит на фабричные трубы городской окраины. Там, вдалеке, густо пылят грузовики, а тут, совсем близко, ходит по лугу девушка, собирает дикий лук. И ему уже кажется, что это не звонок звенит и не жаворонок поет, это она смеется, тонко, заливисто, зовуще.

– Даяна!

Девушка смеется еще громче и идет к нему прямо через высокую траву, через болотца в низинках.

И тут он вспоминает все: ночь, утро, черный монитор на блескучей глади реки. И стонет от навалившегося вдруг тяжелого звона в голове.

– Товарищ мичман! Товарищ мичман!

Протасов видит небо, узкие листья тальника и близкие встревоженные глаза Суржикова.

– Где мы?

– На острове.

– А катер?

– Да там...

– А мы почему здесь?

– Так он, товарищ мичман, потонул.

Подробности боя проходят перед ним, словно кадры кино, которое крутят назад.

– А Пардин где?

Суржиков отворачивается и молча лезет в заросли, волоча перевязанную тельняшкой ногу. Скоро он возвращается, тяжело садится на траву, рядом с расстеленным мокрым бушлатом.

– Тихо вроде.

Только теперь сквозь звон в голове Протасов слышит тишину. Ни выстрелов, ни криков. Ветер шевелится в чащобе тальника. Где-то совсем рядом, за кустами, шумит вода, и комар зудит над самым ухом.

– Где монитор?

– Ушел, наверное.

– А может, десант высаживает?

– Высаживать-то некого.

Протасов обессиленно роняет тяжеленную голову, спрашивает, снова закрывая глаза:

– Как это вышло?

– Попали, заразы! Прямо по ватерлинии. А у нас и без того дырок хватало.

– А может, выплыл Пардин?

Снова Суржиков не отвечает. Протасов разлепляет глаза, видит, что матрос отрешенно качает головой, как женщина, опустошенная безнадежностью. Комары вьются над его голой спиной, пикируют с высоты.

– Накинь... бушлат... сожрут ведь.

Суржиков здоровой рукой хлопает себя по спине, равнодушно смотрит на окровавленную ладонь. И вдруг настораживается.

– Плывет кто-то. А ну, тихо!

Он уползает в кусты, и скоро оттуда, из дальнего далека, слышится его приглушенный голос:

– Эгей, братишки, давай сюда. Тута мы...

* * *

– Товарищ лейтенант, связь наладили!

Пятнистый от пота и пыли, с бровью, рассеченной отскочившей стреляной гильзой, начальник заставы спешит к блиндажу, на ходу отдавая распоряжения о нарядах, боеприпасах, подводах, которые нужно достать в селе. Он выхватывает трубку, горячо кричит в нее:

– Комендатура? Кто у телефона? Срочно коменданта! Коменданта мне!

– Его нет, – тихо журчит в трубке.

– Что значит – нет? Разыщите!

– Коменданта нет, – упрямо отвечает далекий замирающий голос.

– На нас совершено нападение. Погиб политрук Ищенко. Катер потоплен. Вы слышите меня? Передайте коменданту. Да побыстрей!

– А ты думаешь, он на рыбалку уехал?

– Кто это говорит?

– Дежурный по комендатуре лейтенант Голованов.

– Сашка! – радостно кричит Грач. – Что ты мне голову морочишь?

Голованов был его приятелем по училищу. Вместе сапоги изнашивали на одном и том же плацу, вместе в увольнение ходили.

– Тут такое было! Рассказать – не поверишь!

– Поверю, – с безнадежной уверенностью говорит Голованов. – Ты давай без эмоций. Слушай приказ: десанты уничтожить, по сопредельной стороне без крайней нужды не стрелять. Все ясно?

– Нет, не все...

– Остальное сообразишь. Хорошо служить – значит уметь рисковать, брать на себя ответственность. А? Чьи это слова? Не твои ли? Вот и действуй. Докладывай обстановку...

Минуту Грач стоит у телефона, покачивая в руке трубку, словно прикидывая ее на вес. И вдруг быстро поворачивается к дежурному.

– Собрать сельчан! Мужиков...

Первым приходит дед Иван.

– Это что же получается? – с порога начинает он. – Газетки читаю, радику когда слушаю. Воюют себе где-то за морями, повоевывают, нас не трогают. И вот на тебе, людей поубивали. Это как понимать, товарищ начальник?

Грач молчит. С неожиданной для себя нежной и горькой печалью он вдруг вспоминает оставленную дома жену. Торопливо идет через двор, распахивает дверь и видит жену сидящей на койке, на жестком казенном одеяле.

– Ты так и сидела все время?

Маша кивает, шмыгает носом, словно ребенок. Из-под сжатых ресниц бегут частые мелкие слезинки.

– Ты плачешь! – ужасается Грач, в неистовой нежности прижимая ее голову к своей пропыленной гимнастике.

– Нет... Что ты... выдумал...

– Все образуется, все будет хорошо, – утешает он, и сам не верит в свои слова.

– Ты был там?

– Где же мне быть?

Она снова всхлипывает, вздыхает глубоко и судорожно, расслабленно, но решительно отстраняется.

– Ты вот что, дай-ка мне санитарную сумку. – Она берет его руки, прижимает к груди, говорит медленно и весомо, как мать ребенку: – Я ведь тоже читала про жен пограничников. Я ведь знаю, что они должны делать в такую минуту. И я не боюсь. Если все кончилось, то чего мне бояться? Если же все только начинается, то имею ли я право на боязнь?

Грачу еще не приходилось слышать от нее такой бесстрашной рассудительности. Он думает о том, что вообще не знает свою жену, и с изумлением и восторгом глядит в ее серые глаза, вдруг ставшие такими строгими.

– Маша моя! Неужели ты – самая настоящая?!

Он пропускает ее в белый солнечный прямоугольник двери, выходит следом. Возле заставы уже сидят человек пятнадцать рыбаков. Грача удивляет и радует такая оперативность: прежде, чтобы собрать людей, требовались часы.

– Что скажешь, лейтенант?

– Соседи сегодня трижды пытались высадиться на наш берег. Не исключено, что еще полезут.

Из табачного облачка слышится удивленный смешок:

– Никак, воевать с нами вздумали?

И сникает, тонет в общем молчании. За рекой короткими всплесками татакает пулемет. Солнце жжет во всю силу, выкатываясь в зенит.

Грач оглядывает молчаливо покуривающих рыбаков, говорит сухо:

– Нам потребуется ваша помощь...

И умолкает, увидев у блиндажа дежурного по заставе.

– Товарищ лейтенант, срочно к телефону!

Он нетерпеливо хватается трубку, слышит раздраженный голос Голованова:

– Дежурный! Куда ты пропал? Передай начальнику, пусть включит радио. Срочно включайте Москву!

– Понял! – кричит Грач. – Что еще?

– Москву слушайте!

Он вбегает в канцелярию, торопливо крутит ручки своего старенького приемника. В угасающем мерцании звуков ловит строгий размеренный голос:

– Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в четыре часа утра без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу страну...

– Германские?! – ахают рыбаки.

– ...Советским правительством дан нашим войскам приказ отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории нашей Родины... Сокрушительный удар агрессору... Наше дело правое. Враг будет разбит.

Казалось, что это не все, что радио сообщит еще что-то важное. Но после минутной паузы из приемника вырывается громкая музыка.

Грач резко убавляет звук, строго говорит в окно:

– Не прошу – приказываю: сбор через полчаса! Одеться, как на ночную рыбалку!

Рыбаки расходятся медленно, словно ждут еще каких-то важнейших указаний. Последней мелькает в окне борода деда Ивана. Он смотрит на приемник, потом на начальника заставы и говорит утешающе, обращаясь неожиданно по отчеству:

– Не горюй, Васильич. Наше дело правое, хоть мы и на левом берегу.

Грач смотрит в опустевшее окно на белую мазанку за зеленью вишен и снова думает о жене, оставшейся дома. К мазанке ведет желтая, посыпанная песком дорожка, чистая и ясная, как луч луны на ночной глади Дуная.

Вдруг на этой дорожке, как раз посередине, вспыхивает ослепительно и темным кустом стремительно вырастает взрыв. Звенят разбитые стекла. Упругой волной Грача толкает в грудь. Он выскакивает на крыльцо, видит на другом конце дорожки бегущую навстречу Машу и за ней, за ее спиной, раскалывающийся дом с белыми ослепительно сияющими окнами. Маша пробегает еще несколько шагов и падает, будто споткнувшись.

Все это происходит так быстро, что Грач не сразу осознает холодный ужас беды. Словно все это – кино, где трагедии условны, где переживания, прежде чем задеть болью, должны осмысливаться. Он еще не привык к неожиданности трагичного. Все это было впереди – призывание к отчаянию бессилия, к неистовству мгновенной, как огонь, ненависти и к холодному спокойствию, тому самому, что, как защитная реакция, приходит на войне к людям, вынужденным свыкаться с обыденностью смертей.

Маша лежит лицом вниз, и на ее белой кофте растекается алое пятно. Грач берет ее на руки, осторожно ступая, несет к заставе. Краем глаза видит загоревшуюся конюшню, часового с винтовкой наперевес рядом с толпой пленных. Пленные жмутся друг к другу, кротко, из-под бровей взглядывают на лейтенанта. Но у Грача еще нет злости, а только недоумение и обида в душе. Он проходит мимо, никак не отреагировав на эту близость и доступность врагов.

Маша открывает глаза, когда пограничник Карпухин, выполняющий на заставе обязанности санитаря, отчаянно краснея и отворачиваясь от обнаженной груди, начинает перевязыв-

вать. Она слабо отталкивает руку с бинтом и, увидев напряженное лицо мужа, успокаивающе улыбается ему одними глазами. Грач берет бинт, сам подсовывает его под тяжелое неподатливое плечо.

- Это только царапнуло, это быстро заживет, – радостно говорит Карпухин.
- Маша грустно улыбается и часто-часто моргает, стараясь прогнать слезинки.
- Не вовремя я приехала, – говорит она тихо.
- Дурочка ты моя. Завтра ты бы ко мне уже не попала.
- Я теперь всегда буду с тобой.

Грач не отвечает. Несколько минут назад он получил по телефону приказ – срочно эвакуировать семьи военнослужащих.

* * *

Под вечер по запутанным заозерным тропам прискакал на коне старший лейтенант Сенько, привез инструкции о переходе к активным действиям.

– Ударим на рассвете, чтобы час в час, – радостно говорил Сенько. – Чтобы поняли, что это возмездие.

Грач усмехнулся:

- Красивый жест. Стоит ли ради представления рисковать людьми?
- Войн без потерь не бывает.
- Планировать потери мы не будем. Пикет разгромим без жертв.
- Интересно, как это получится?

– Получится. Этот пикет вот где у меня. Я на него столько гляжу, что, кажется, всех солдат в лицо знаю.

- И можете рассказать о вашем бескровном плане?
- Могу даже показать на местности.

В сопровождении двух пограничников они идут на фланг, туда, где этим утром начальник заставы встретил первых десантников. Убитые нарушители границы, сложенные в рядок до особых указаний, лежат в неестественных, странных для людей позах. Грач уже нагляделся на них, а Сенько впервые так близко видит убитых, может быть, впервые в жизни. Правда, и ему утром пришлось участвовать в бою. Но там был огневой бой, убитые оставались в лодках или тонули в Дунае. Бой на расстоянии – это все же не тот бой, когда сходишься грудь на грудь, когда перед тобой белые от страха глаза, когда слышишь, как хлещут пули по тугим мундирам, и видишь обыкновенную человеческую боль на лицах, боль, которая еще не перестала вызывать жалость...

- В камышах никого не осталось?
- Мы прочесывали.

Сенько подходит к убитым, переворачивает одного.

- Не буржуй вроде. Чего он пошел против нас?

Грач не раз задавал себе этот вопрос. И теперь, глядя на убитого, простоватого парня с застывшим на лице удивлением, он думает, что, может, ради таких вот не слишком разбирающихся в политике деревенских парней Москва и приказывала избегать конфликтов.

- Погнали.
- А классовое сознание?

Ему хочется сказать, что сознание, даже классовое, подразумевает знание, но он вдруг злится на себя за неуместность мирных разглагольствований.

- Вы на другого гляньте, явный фашист. Из простого народа веревки вьют, сволочи!
- Простой не простой – как отличишь?
- В том и беда.

Грач ждет упреков в неуместной жалости, но Сенько молчит. Война только началась. И хотя уже знаешь, что мирные разглагольствования на фронте не только неуместны – вредны, душа еще не ожесточилась.

Они идут дальше, перебираются вброд через неширокую протоку и углубляются в заросли тальника.

– Сейчас я вам покажу, как можно бить врага без потерь, – говорит Грач, словно оправдываясь, придавая голосу суровость.

Они находят секрет, затаившийся с ручным пулеметом за кустом, ложатся в траву рядом с пограничниками, выслушивают доклад о том, что на участке пока все спокойно, что солдаты на том берегу, как всегда, роют траншеи и что в кустах у берега замечено восемь замаскированных лодок.

– Ясно же – десант готовят, – горячится Сенько.

Грач кладет ему руку на плечо и показывает вперед. Они ползут один за другим, оба втискиваются в маленький шалашик, хитроумно сплетенный из живых стеблей тальника. В трех метрах от шалаша светлеет вода, поеживается прибрежными водоворотами. Отсюда до брустверов вражеского пикета не больше пятисот метров. Там, меж осокорей, высвеченных закатным солнцем, виднеются серые глинобитные стены казармы и двор, по которому спокойно, словно и нет никакой войны, расхаживают солдаты.

– Они привыкли, что мы не стреляем. Теперь отучим, – говорит Грач и, не оборачиваясь, зовет тихо: – Говорухин! Видишь того голого, что умывается? Снимешь его. Смотри не промахнись. Нужно, чтобы с первого выстрела.

Затем Грач подзывает пулеметчика, берет у него ручной пулемет и сильно ударяет сошниками в плотный зеленый бруствер.

Булькает вода под берегом. Зудят комары. Солнце сбоку подсвечивает правый берег, брустверы окопов, осокори, сухие камышовые крыши сараев.

Выстрел обрушивается, как гром. Солдат у колодца на том берегу падает лицом в бадейку, заваливается на бок. К колодцу подбегают другие солдаты, собираются крикливой толпой.

И тогда Грач нажимает на спусковой крючок и бьет по этой толпе непрерывной длинной очередью. Потом вскакивает, кричит в заросли:

– Отходить! Всем отходить!

Когда они, запыхавшиеся, падают в траву за дамбой, от пикета по камышам запоздало начинают частить пулеметы. Где-то высоко посвистывают пули, косят ветки кустарника. Сумерки ползут по лугам, густеют с каждой минутой.

Позади вдруг ярко вспыхивает, и сухой треск взрыва раскатывается над Дунаем.

– Бегом! – командует Грач.

– Где эта батарея? – на бегу спрашивает Сенько.

– Трудно понять. Где-то в глубине.

– Надо засечь. Не сегодня завтра наша артиллерия подойдет.

Они подходят к селу уже в темноте. Стены хат белесыми призраками светлеют меж осокорей. Возле них то там, то тут вспыхивают сигарки: старики пережевывают события дня.

– Стой, кто идет?!

– Кто это? – удивленно спрашивает Грач.

– То я – Гнатюк.

– Ты что – за часового?

– Ага. Вроде полевого караула.

Дед Иван подходит вплотную, вскидывает бороденку, говорит доверительным шепотом:

– Пока вы бой воевали, мы радиву слушали. Сводку Главного командования Красной армии передавали. Бьют ворогов. Нигде их не пустили, только, кажись, в двух местах. Сбили шестьдесят германских самолетов. А? Никаких самолетов у них не хватит.

– А еще что передавали?

– Законы всякие. О военном положении, о мобилизации. Много всего. Народ поднимается. Вот и я сторожу тоже.

Грач поощрительно хлопает его по плечу, проходит мимо. И вдруг останавливается, говорит в темноту:

– Дед Иван, зайдите-ка на минутку.

Несмотря на бои, на артобстрел, застава живет по-прежнему. Все так же повар хлопочет на кухне, и часовой стоит у ворот, и дежурный, с красной повязкой на рукаве, четко встречает начальника. Грач запретил личному составу только отдыхать в казарме. Да и некому отдыхать. Немногие свободные от нарядов пограничники, подостлав шинели, спят в саду у брустверов окопа.

В мазанке-казарме тихо и пустынно. Грач пропускает деда вперед, садится рядом с ним на скрипучую койку.

– Иван Петрович, – говорит он, необычно называя деда по имени-отчеству. – Скажите, кто вы по национальности?

– Папа – рус, мама – рус, а Иван – молдаван, – усмехается дед.

– Вы давно здесь живете?

– Да ведь сколько живу, столько и здесь.

– Места на том берегу знаете?

– Лучше, чем свою старуху, бывало. Места, они всегда одинаковые. А старуха у меня была капризней Дуная, никогда не знал, в какую сторону кинется...

– Как вы думаете, где можно спрятать целую батарею, да так, чтобы ее и не видно было и не слышно?

– Мудреная задача, – говорит дед. – Считай, с той войны пушек не видал. В Измаил тогда ездил.

– Если мы не засечем эту батарею, она нам все село побьет.

У Грача ясная идея относительно деда Ивана, но ему хочется, чтобы он сам о ней догадался.

– Как ее засечешь издаля-то. Надо поближе поглядеть.

– Верно, дед, светлая у вас голова, стратегическая. Да кого ж послать?

Старик скрипит пружинами, сопит обидчиво:

– А мне, значит, нет доверия?

– Это дело опасное и трудное.

– А и не больно-то. Я в тамошних протоках каждую лягушку знаю. А опасно-то – теперь везде опасно. Давеча снаряд малость в хату не угодил, гуся в огороде убил да стекла повышиб. Соседка и посейчас икает на лавке.

– Это дело, дед, очень серьезное. Надо, чтобы вас никто не заметил. И надо, чтоб вы поскорей вернулись. На том берегу весла спрячете и пойдете тихо на одном шесте. Мы тут пошумим, маленько, так вы покуда уходите подальше. А днем сидите в камышах и слушайте, откуда будут пушки стрелять...

Тишина кажется густой и сжатой, как в запертой на ночь школе. Помаргивает лампа на столе. Жужжит муха под потолком. Где-то за стеной с подвыванием тявкает собака.

– Ударим на рассвете, в тот самый час, – мечтательно говорит Сенько.

– Не надо на рассвете. Переправимся ночью, тихо снимем часовых и – малой кровью, могучим ударом. Как в песне.

– Какой же это удар, когда тихо?

– Разве не все равно?

– Не эффектно.

– Пусть эффектно враги умирают, – сердится Грач. Ему вспоминается фотограф, недавно приехавший на заставу. Тот тоже все искал красотой. Чтобы был хмурый взгляд, устремленный вдаль, чтобы пограничники шли в атаку подтянутыми, застегнутыми на все пуговицы, в ровненькой шеренге. И чтобы не сгибались перед пулеметами...

Они умолкают, обиженные друг на друга.

– Что там на других заставах? В комендатуре-то больше известно? – спрашивает Грач, чтобы переменить разговор.

– Везде одно и то же – десанты, бои. В устье наши бронекатера пикет разгромили, расстреляли из пушек. Измаилу досталось: в первый же час – артолет. В городе Рени, на первой заставе, начальник погиб, а политрук чуть в плен не попал. Там немцы еще ночью высадились.

– Немцы?

– Чему вы удивляетесь? Они везде, и у вас тоже, только в румынской форме. А под Рени их особенно много: город, мост, сами понимаете. Заставу-то взять не сумели: часовой тревогу поднял. А политрук дома спал, так его прямо сонного и схватили. Оглушили, поволокли к реке – и в лодку. Чтобы к себе увезти. А он, не будь дурак, когда очнулся, перевернул лодку и под водой поплыл к своему берегу. Течение там быстрое – унесло. Хоть и раненый, а выплыл, добрался до заставы и еще боем руководил.

Грач слушает, глядя на вздрагивающее пламя лампы, и его гордость прямо-таки ощутимо опадает, съеживается, как проткнутый мячик. Утром, в первые минуты, его мучило опасение: не поторопился ли стрелять? Потом, когда десант был уничтожен, к нему вместе с радостью победы пришла гордость, что именно на его заставе случилась эта крупная провокация, которую он так блестяще отбил. По привычке всех, на ком лежит необходимость вспоминать героическое, он прикидывал, как выразительней доложить о случившемся, о стойкости заставы. Тогда он еще не думал о наградах и славе, но теперь, когда стали известны масштабы случившегося, точно знал: в иной обстановке эти думы все равно бы пришли.

И так постепенно события этого длинного дня все убавляли и убавляли его воспарившую гордость. Гибель Ищенко, бой протасовского катера, намеки Голованова о боях на других заставах, наконец, рассказ о плененном политруке – все это были ступени, по которым самолюбивое сознание собственной исключительности спускалось с небес на землю. Приходило знакомое облегчающее чувство общности со всеми людьми. Будто он только что стоял один на сцене, вынужденный напряженно следить за каждым своим жестом, каждым словом, и теперь сходил в зал, растворялся в толпе...

* * *

Старая полуторка, дребезжа, как пустая жестянка, торопливо прыгает по неровной дороге. Пыль дымовой завесой тянется над серыми кустами за обочиной, над светлыми полями хлебов и темными пятнами сырых низин. Солнце падает к горизонту, насыщая воздух розовым светом. Мичман смотрит на скользящие по горизонту осокори дальних сел и перебирает в памяти пережитое. Тупо ноет голова и, может, от этого мысли его мрачны. Ему все кажется, что он один виноват в гибели механика Пардина и катера, что можно было действовать как-то иначе. Он казнит себя и за то, что оставил Даяну в селе, а не повез ее на станцию вместе с Машей. Ведь можно было. Когда грузились, Даяна стояла рядом и, кажется, ждала, что он позовет. А он только поцеловал. Даже отстранил, когда лейтенант Грач подошел прощаться, сказал дурашливо:

– Ты тут погляди за моей Даяной.

Ему самому тогда стало неловко, что вот он дурачится, когда все серьезны. Только Суржиков, должно быть по своей веселой привычке, подхватил игривый тон.

– Не беспокойтесь, товарищ лейтенант, – сказал Грачу, – пылинки не дадим упасть на вашу жену.

Теперь Суржиков, растолстевший от бинтов, сидит возле Маши и травит ей что-то веселое.

– Возду-ух! – неожиданно кричит кто-то в кузове и барабанит кулаком по кабине.

Высоко в потемневшем небе мирно плывут шесть серебристых крестиков.

– Наши! – радостно говорит Маша. – На запад пошли!

Вдруг в полукилометре взметывается над полем черный куст, и булькающий звук взрыва доносится до дороги.

– Вот те и наши, – говорит шофер. – Бомбы скидывают, чтобы обратно не тащить. Видно, не больно-то их пускают...

На железнодорожной станции столпотворение. Рядом с вокзалом дымятся развалины, и красные изломы кирпичных стен напоминают рваные раны. Возле развалин – толпа зевак: разрушения еще вызывают любопытство.

Полуторка, сгрузив пассажиров, ушла на Измаил. Протасов долго мечется в шумной подвижной толпе, находит старшего лейтенанта в зеленой фуражке – ответственного за эвакуацию семей пограничников, сдает ему вдруг расплакавшуюся Машу и уходит на площадь, где Суржиков уже облюбовал серую от пыли пятитонку.

– На Килию?

– А вам не все равно? – подозрительно отзываются из кузова.

– Демобилизуюсь, тогда будет все равно. А пока начальство требует.

Из кузова выпрыгивает старшина-пограничник, глядит на серые в сумерках бинты Суржикова.

– Участвовали?

– А тебе не все равно?

– Не кипятись. Привыкать надо к бдительности. Война не на один день.

Снова удушливо пахнет пылью, мелькают тени осокорей за обочинами.

– Привыкать надо, – назидательно говорит старшина прерывистым от тряски голосом. – Война не маневры. Тут один посадил попутчика, а оказалось – шпиона.

В кузове еще двое гражданских. Они сидят бок о бок, громко кричат друг на друга, то ли разговаривают, то ли спорят.

– ...А комендант майор Бурмистров и говорит...

– Бурмистренко.

– Нет, Бурмистров. Выводите, говорит, роты из палаток – соседи на наш берег пушки наводят.

– А мы накануне до полуночи в горькоме просидели. В двенадцать радио послушали – обычная передача. А как «Интернационал» отыграли, на улицу пошли. Только до угла Телеграфной дошли, как тут и ракеты с той стороны. Собаки во дворах забрехали. А товарищ Литвинов, секретарь наш, и спрашивает у Бурмистренко...

– У Бурмистрова.

– Нет, у Бурмистренко. Спрашивает: как, мол, наши молодцы-пограничники границу оберегают, надежно ли? Тот и говорит: чувствует, говорит, мое сердце, что-то будет этой ночью. А комиссар полка, товарищ Викторов, успокоил: все, мол, будет в порядке, если что – мы поможем.

– Так вот о палатках. Вывели, значит, из них всех, только дневальных оставили. А утром они по этим палаткам ка-ак вдарят. Страшно что было бы, если б Бурмистров не предупредил.

– Бурмистренко...

Протасов дремлет под эти монотонные пререкания. Время от времени поднимает голову, взглядывает на низкие звезды и снова беспокойно забывается. Чудится ему Даяна, одиноко бредущая вдоль дороги по колено в полыни. Слышится глухое пулеметное татаканье. И сонные пререкания пассажиров, бесстрастно спорящих о Бурмистрове-Бурмистренко, перемешиваются с сердитым скрежетанием шестеренок под кабиной.

Будит его тишина. Машина стоит возле мазанки со стенами, розовыми от рассветного солнца. В дверях хаты – молодая женщина, улыбаясь, глядит, как старшина-пограничник неторопливо пьет из высокой кринки.

– Где мы?

– Да в Килии ж, – весело говорит молодайка.

Старшина сладко чмокает, нехотя отрывается от кринки.

– Мы через город не поедem, – говорит он. – Топайте пешком, моряки, прямо по этой улице.

Протасов будит Суржикова, и они вдвоем идут по окаменевшей от жары тропе вдоль домов, спрятанных в садах. С каждым кварталом дома все смелее выглядывают из-за зелени ветвей и наконец, ближе к центру города, выставляются к самому тротуару дремотно обвисшими занавесками окон.

В просветах улиц виден Дунай. Он лежит вдали темной полосой, и светлые блики скользят по его поверхности. На другой стороне реки, за леском, виднеются дома, и высокая колокольня Килии-Веке, той заречной Старой Килии, поблескивает двумя острыми шпилями.

Протасов немало наслышан о судьбе этих двух городов, разгороженных Дунаем. Говорят, что впервые люди поселились здесь двадцать три века назад. Будто еще Александр Македонский построил тут храм Ахилла, возле которого и возникло поселение Ахиллия – Акилия – Килия. Будто было это место стратегическим пунктом Древней Руси на Дунае, и киевские князья останавливались тут с дружинами на пути в Византию. Правда, все это больше относилось к той, задунайской, Килии. Но и левобережная немолода, упоминалась в списке «всем градам русским, дальним и ближним», составленном еще в XIV веке.

Город живет бессонной и беспокойной жизнью. На улицах не по времени людно. Кто-то куда-то спешит, ходят патрули попарно – один военный, один гражданский с винтовкой.

Гремя и пыля, как боевые колесницы, проносятся подводы. Мальчишки топчутся возле угла кирпичного дома, развороченного бомбой, с удивлением разглядывают в пролом железную кровать с никелированными шарами, домашний коврик на стене.

Неровным строем шагает взвод пестро одетых гражданских, и какая-то бабуся ехидно отзывается из-за калитки:

– Истребители пошли. – Увидев рядом военных моряков, охотно поясняет: – Истребительный батальон собирают. Из наших-то мужиков...

– Не волнуйся, бабуся, в обиду не дадим, – говорит Протасов, решив, что ему, как военному, положено внушать населению уверенность.

– Да уж как же, видела я сегодня ваше войско. Чуть что не бегом уходили. Всю ночь гремели под окнами.

– Это, бабушка, маневр, стратегия такая, – говорит мичман, думая, однако, совсем о другом, что, видно, не везде крепка граница, если полк, стоявший в Килии, действительно переброшен на другой участок. Еще он думает о том, что на всей западной границе нет такого естественного рубежа, как Дунай, и, стало быть, главная война, по-видимому, не здесь. От этих мыслей ему становится грустно. Он, как и многие в эти первые дни, еще уверен, что война долго не продлится, и оставаться в стороне от главных дел ему не хочется. Но тут же приходит утешающая мысль: если для врагов Дунай не главное направление, то нужно здесь воевать так, чтобы им на других направлениях стало тошно.

Капитан-лейтенант Седельцев, осунувшийся после двух бессонных ночей, встречает Протасова невесело.

– Где катер? Почему погубили людей? – кричит он. – За это судить полагается!

У Протасова холодеет лицо. Он чувствует, что вот сейчас, сию минуту может не выдержать, стыдно упасть на земляной пол.

– Разрешите выйти? – хрипло говорит он. И, не дожидаясь разрешения, идет к двери.

Суржиков сидит на крыльце, покуривает, подставив лицо солнцу. Протасов тяжело опускается рядом, откидывается к стене.

– Что с вами?

– Ничего. Дай курнуть.

Когда отступает от глаз темная тяжесть и остается только медленно затухающий звон, Протасов встает, устало отряхивает китель.

– Посиди тут, – говорит он. – Если меня хватятся, скажи – сейчас буду. Я прогуляюсь чуток, курица куплю на рынке.

– Какой теперь рынок?

– Все равно. Надо пройтись.

Еще издали он видит – рынок есть. Человек пятьдесят толкуются у лотков, что-то покупают, что-то продают. Протасов медленно идет к этой толпе, понемногу успокаиваясь, удивляясь неизменности человеческих привычек. И вдруг замечает в небе звено самолетов, идущих к Килии с севера. Судя по курсу, самолеты должны были пройти стороной. Но они разворачиваются и летят прямо на центр города. Где-то в улицах за домами сдвоенным эхом стучат винтовочные выстрелы.

– Расходитесь!

Протасов бежит к первой подводе, вскакивает в мягкую солому и, полуобернувшись, взмахивает рукой, чтобы показать людям самолеты. И замирает на миг, поймав глазами выпуклую старую надпись над тяжелой дверью соседнего магазина: «Керосин». «Вдруг сюда бомба!» – с испугом думает он. И кричит совсем неистово, срываясь на фальцет:

– Разбегайтесь! Во-оздух!

Но происходит непонятное: люди не бегут врассыпную, а любопытной толпой подаются к телеге.

– Чего вин гуторить?

– Бомбить будут!

Передние догадываются, бегут в соседние дворы, лезут под телеги. Паника катится по толпе, как волна. Толпа тает, рассыпается по площади. Но тут из-за крыш обрушивается рев самолета, и сразу же – раскатистый треск бомбы. Сбитая на землю лошадь сухо бьет копытом по передку телеги. Протасов видит, как падает старик, резко, словно его ударили под коленки. Молодая крестьянка застывает в недоумении от неожиданной и непонятной боли. Маленькая девочка в цветастом сарафанчике вдруг расплывается на камнях. И кто-то кричит, кричит на одной высокой, отчаянной ноте. И сыплются с лотков вишни, застывают на истоптанной земле, словно капли крови.

Второй взрыв сбрасывает его с телеги. Он больно падает боком на колесо, тут же вскакивает, бросается к девочке, лежащей на камнях. Не понимая случившегося, девочка болезненно улыбается. Из ее широко распахнутых, испуганных глаз часто-часто выкатываются слезинки, смешиваются с кровью на подбородке и падают на серый от пыли китель мичмана.

– До-оча!

К нему подбегает женщина, грубо вырывает девочку, и, припадая от тяжести, быстро идет, почти бежит по улице, и все говорит, говорит что-то, вскрикивая и всхлипывая.

Через полчаса санитары увозят раненых и убитых, и Протасов с удивлением замечает, что базар все тот же. Кто-то снова торгует вишней с воза, на деревянных лотках лежит пира-

мида абрикосов, женщины, как и полчаса назад, трясут на толкучке своим немудреным барахлишком.

Протасов покупает мешочек своего любимого, мелко нарезанного, крепкого, как спирт, местного табака, стараясь унять дрожь в руках, набивает трубку, затягивается и закрывает глаза.

«Черт с ним, – думает он о Седельцеве, – пусть судит. И в штрафбате можно воевать...»

Но капитан-лейтенант Седельцев встречает Протасова неожиданно ласково.

– Как вы себя чувствуете? – спрашивает он, улыбаясь. И обиженно складывает губы. – Что же вы меня подводите, товарищ мичман? Почему сразу не рассказали, что героической схваткой с вражеским монитором сорвали высадку десанта?

– Я докладывал.

– Что вы докладывали? Что пошли в открытую против монитора? Что погубили катер и людей? Как прикажете реагировать на такой доклад? А ваш подчиненный, матрос Суржиков, рассказывает, что был героический бой, были и мужество, и самопожертвование. Я звонил на заставу – все подтверждается. О героизме надо в трубы трубить, а не докладывать.

– Ну, трубить нам еще рано. Сначала надо фашистов отбить.

– Нет, не рано. Примеры героизма нам сейчас вот так нужны!

Седельцев, словно обидевшись, отворачивается и долго смотрит в окно.

– Как вы себя чувствуете? – опять спрашивает он.

– Как можно себя чувствовать? На базаре баб да детей бомбят. Фашистам глотки рвать надо, а мы тут рассусоливаем!

– Товарищ мичман!

– Мы по вооруженным нарушителям не стреляли, а они по безоружным... – Снова почувствовав тяжелую боль в голове, он судорожно сглатывает воздух и добавляет терпеливо: – Товарищ капитан-лейтенант. Отправьте меня на катер. Кем угодно, лишь бы к пулемету.

– Зачем же – кем угодно. Нам смелые командиры нужны. Принимайте другой катер. Вопросы есть?

– Никак нет! – радостно чеканит Протасов. – Разрешите выполнять?

И он щелкает каблуками, как не щелкал с курсантских времен.

* * *

Телефонный звонок дребезжит, как разбитый стакан.

– Гнатюк? Что с ним?

– Все в порядке, – говорит трубка голосом старшины. – Отправляю на заставу.

Лейтенант Грач разглаживает ладонями лицо, смятое дремотной бессонницей, застегивает ворот и выходит на крыльцо. Звенят цикады. Шумят осокори под ветром. Млечный Путь лежит над головой широкой живой дорогой. Где-то далеко одна за другой взлетают ракеты и теряются в звездной каше.

– Тишина-то какая! – говорит из дверей старший лейтенант Сенько.

– Бывало, ничего так не желали, как тишины. А теперь она тревожит.

– А вы что бродите?

– Дед вернулся. Ведут сюда.

Бойкий говорок деда они слышат еще издали:

– ...А в других местах? Ты давай все говори, как где воюют.

– Обычно воюют.

– Ты радику слушал?

– Некогда было. – Голос у сопровождающего пограничника усталый, почти сонный.

– Некогда, – передразнивает дед. – Небось пообедать успел... – Он умолкает, увидев командиров, торопливо идет к крыльцу, неумело вскидывая руку к мокрой встрепанной бороде: – Товарищ начальник заставы! Твое приказание выполнил!

Обнимая старика, Грач чувствует через гимнастерку холодную мокроту его пиджака. Он ласково ведет его в свою канцелярию, наливает водки в солдатскую кружку.

– Согрейтесь, дедушка. – И только тут, в желтом свете лампы, замечает под запавшим глазом деда Ивана темный кровоподтек. – Где это вы?

– Звезданул, аж светло стало.

– Кто?

– Да сигуранца ж, солдат ихний. Пошел я лодки глядеть, а он мне и заехал.

– Какие лодки?

– Всякие, их там в камышах штук сорок.

– Вы не ошиблись?

– Что я, в лодках не понимаю? – обижается дед. – Потому и торопился, что понял: десант собирают.

– А как с батареей?

– Да в Тульче она, прямо в городском парке стоит. Это мне рыбак знакомый сказал. Почитай два года не виделись.

Когда за дедом закрывается дверь, Грач принимается раскладывать на столе карту, всю в синих жилках проток.

«„Язык“ нужен. Этой же ночью». И решительно поднимает телефонную трубку:

– Хайрулина ко мне! Быстро!

Час уходит на сборы. И вот начальник заставы стоит в камышах и смотрит, как растворяется в темноте силуэт маленького рыбацкого каюка. Грач знает, что в сорока метрах от берега тихая река свивается в струю и стремительно мчится к невидимой в этот час одинокой вербе на том берегу. За вербой струя бьет в дернину чужого берега. Но если загодя сойти со струи, то можно вплотную прижаться к камышам, а потом, прикрываясь ими, пройти против течения те полтора метра, которые остаются до заросшего камышом устья ерика, что дугой уходит в чужие болотины. Ериком надо проплыть полкилометра, спрятать лодку, пересечь плавни по колено в воде, затем проползти лугом и подобраться к одинокому шалашу, где, как засекли наши наблюдатели, находится вражеский пост.

– Слишком мудрено, – говорил Сенько, когда Грач излагал ему этот план. – Заблудятся в темноте.

Он и сам знает, что нелегко. Зато этот болотистый берег фашисты считают безопасным, здесь не свербят ракеты, нет ни пулеметных гнезд, ни частых постов. Здесь по ночам всегда тихо, а днем лишь изредка проплывает ериком лодка, сменяя солдат.

Ветер шумит камышами, посвистывает в зарослях лозы. Млечный Путь висит так низко, что кажется дымным следом земных костров. Яркие, как угли, звезды переворачиваются с боку на бок, словно кто-то ворошит их невидимой кочергой. По звездам выходит, что идет уже третий час ночи.

Грач лежит на влажном от росы плаще возле пулемета, выдвинутого сюда на случай прикрытия, глядит неотрывно в черноту под звездами.

– Вы бы поспали, товарищ лейтенант, – говорит пограничник Горохов, бывший за второго номера. – Я разбужу, если что.

Грач и сам понимает, что теперь самое время вздремнуть, но гонит эту мысль. Ему кажется чуть ли не преступлением спать в такой момент, когда его подчиненные выполняют ответственную задачу. Он еще не знает, что очень скоро война научит спать и под бомбежками, что придет время, когда подчиненные станут для него не просто людьми, которыми нужно

командовать, а еще и товарищами по войне, по крови, по общему делу, способными и побеждать, и умирать без команды, без поминутной опеки.

– Товарищ лейтенант!

Грач открывает глаза, видит блеклую воду и темную полосу противоположного берега.

– Светает? – испуганно спрашивает он.

– Товарищ лейтенант, слышите?

Из монотонного шороха камышей выделяется какой-то булькающий, глухой стук.

– Катер идет, – говорит Горохов. И торопливо объясняет, радуясь своей сообразительности: – У него выхлоп в воду, вот он и стучит так тихо, булькает.

Звук приближается. И растет тревога. Ибо ясно, что катер этот чужой и что идет он сюда, к протоке, откуда вот-вот должны выйти разведчики. Скоро Грач различает на темном фоне того берега маленькое движущееся пятно.

– Разрешите, а, товарищ лейтенант? Нельзя их к протоке пускать.

– Давай!

Пологая огненная арка трасс повисает над водой. Оттуда, из сумерек, тоже частит пулемет, пули шлепают где-то рядом, ноют в рассветном небе.

И еще до того, как катер уходит, растворяется в серых сумерках, Грач слышит частые, странно ритмичные выстрелы в той стороне, где находятся разведчики.

– Наши бьются!

Горохов вскакивает, с недоумением оглядываясь на лейтенанта.

– Ложись! – приказывает Грач. И добавляет спокойно: – Разве это бой? Лупят раз за разом. Так стреляют только с перепуга. В белый свет, как в копеечку...

Вскоре на выбеленную рассветом водную гладь вылетает лодка и мчится по стремнине наискосок реки. Она вонзается в камыши, скрывается из глаз, невидимая, шуршит днищем.

Грач бросается навстречу, хлюпая сапогами по илистому топкому мелководу, и в камышах почти натывается на разведчиков, мокрых, осунувшихся, незнакомо ершистых от травы и водорослей.

– Товарищ лейтенант, ваше приказание выполнено! – докладывает Хайрулин, вытянувшись по-строевому. И кивает на лодку, в которой, перевесившись через скамью, лежит пленный.

– Он живой?

– Был живой. Счас мы его водичкой, – суется Хайрулин. Он брызгает илистой мутью, отчего на лице пленного появляются темные пятна и полосы. – Он все удирать хотел, лодку чуть не опрокинул, пришлось его маленько стукнуть.

Пленный открывает глаза и вдруг начинает дрожать, оглаживая непослушными руками мокрый мундир. И тут Грач замечает на его плечах узкие офицерские погоны.

– Офицер?

– Так точно! Он по своим делам в кусты пошел, мы его и взяли.

– Ну молодцы! – говорит он радостно и ласково.

– Служу Советскому Союзу! – громко, как на плацу, чеканит Хайрулин. И опасливо оглядывается на посветлевшую реку.

* * *

Весь день с того берега гремят выстрелы. Мелкокалиберные снаряды вгрызаются в белые стены домов на килийской окраине, с сухим, кашляющим звуком рвутся на мостовой. Килия не отвечает. Лишь когда над городом появляются самолеты, улицы и дворы горохом рассыпают винтовочные залпы. Самолеты бросают по несколько бомб и поспешно улетают за Дунай.

Ничего этого Протасов не слышит: он спит, выполняя строжайшее предписание доктора. Накануне доктор потребовал госпитализации. Мичман, уже испытывавший бой, стыдился оказаться на больничной койке без ран. Они крепко поспорили. Порешили на том, что Протасов, не спавший до этого двое суток, прежде хорошенько выспится и завтра снова покажется врачу.

А Суржикову отвертеться не удалось. И у него тоже не оказалось серьезных ранений, но вид окровавленных бинтов привел доктора в состояние невменяемости.

– А если в царапины попадет инфекция? – говорил он. – А психические травмы?

Суржиков стал доказывать, что «психические травмы» теперь только на пользу, что к ним все равно надо привыкать, но доктор был непреклонен.

Мичмана будят среди ночи приказом капитан-лейтенанта Седельцева срочно явиться в штаб. Пошатываясь от тяжести в голове, он выходит на палубу своей новой «каэмки», точно такой же, как та, что стала могилой механику Пардину и его, мичмана, неусыпной болью. Он гладит шероховатую стену рубки, ровную, без царапинки, трогает жесткий новый чехол на пулемете, потом сходит на скрипучий дощатый причал и оглядывается. Небо над Килией светится крупными немигающими звездами. Ночь стонет разноголосым лягушечьим хором. Перекликаются птицы в прибрежных камышах, громко и безбоязненно, как до войны.

Потом он идет вслед за связным по темной парковой дорожке, стараясь справиться с зябкой дрожью во всем теле.

– Что сказал доктор? – с улыбкой спрашивает Седельцев, едва мичман переступает порог.

– Велел выспаться.

– Значит, все в порядке. Я его знаю, он бы не выпустил.

Мичман молчит, боясь расспросов.

– Дорогу в Лазоревку не забыли?

– Никак нет!

– Чему вы улыбаетесь?

– Как ее забудешь, товарищ капитан-лейтенант? Лазоревка теперь для меня, что Кострома родная.

– Да, конечно, – серьезно говорит Седельцев. – Место боевого крещения не забывается. Так вот, придется вам снова отправиться туда.

– Есть! – Протасов морщится, стараясь смять распирающую его неуместную улыбку.

– Получены сведения, что там снова готовится десант. Выходить надо немедленно, пока темно. Пойдете протоками. На открытых участках маскируйтесь берегом. Если обстреляют, не отвечайте. Пусть думают, что рыбацкий катер. Ясно? Вопросы есть?

– Так точно! Никак нет! – И Протасов снова расплывается в широкой улыбке.

Седельцев хлопает его по плечу.

– Ну, с богом, герой ты мой веселый. Смотри будь осторожней, бдительней будь, похитрей, одним словом.

На рассвете новая «каэмка» Протасова входит в темень под знакомыми вербами Лазоревки и прижимается к зыбким мосткам. Задыхаясь от нетерпения, мичман бежит по тропе сквозь влажные заросли лозняка. Роса брызгает в лицо холодным дождем, пресно мочит губы. Наверху, у задерненного бруствера, его окликают.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.